

Возвращение корнета

Автор:

Евгений Гагарин

Возвращение корнета

Евгений Андреевич Гагарин

Светлая, чуткая и достоверная проза Евгения Андреевича Гагарина (1905–1948) мало известна в России. Автор покинул СССР в 1933 г. и до своей ранней кончины писал за границей. В предлагаемую читателю книгу вошли две его повести: одна из эпохи Первой мировой войны, другая – Второй мировой войны. Действие первой повести происходит в глубоком тылу, на родном для автора Русском Севере. Действие второй – в прифронтовой полосе, с немецкой стороны. Душевные коллизии, которые испытывает русский эмигрант, служащий переводчиком при Вермахте, но любящий прежде всего свой народ, – эмоциональный стержень повести. Она была впервые напечатана в журнале «ГРАНИ» № 14 в 1952 г. и вышла в виде книги в издательстве им. А.П. Чехова в Нью-Йорке в 1953 г.

Евгений Андреевич Гагарин

Возвращение корнета. Поездка на святки

Предисловие

Евгений Андреевич Гагарин родился 12 февраля 1905 г. на севере России – в Шенкурском уезде Архангельской губернии. Отец его был управляющим большим казенным лесным имением. Близость к природе, особенно к лесу, дикие, нетронутые человеком лесные чащи, мягкая хвоя под ногами,

перекликающиеся в вершинах птицы, – всё это оставило неизгладимый след в душе мальчика. Лучшие страницы его увлекательной книги «В поисках России», вышедшей пока только по-немецки, полны этих отзвуков. Они живут и в описаниях зимнего ландшафта, замечательных по тонкости оттенков и насыщенности красок, в первых главах «Корнета» и в «Поездке на святки».

Евгений Гагарин развился постепенно в крупного художника слова. Его стиль достигает временами большого мастерства и огромного очарования, но всё это тесно связано с воспоминаниями его детства и ранней юности, с той величественной, хотя и суровой природой, среди которой он рос. Это – один из вдохновляющих истоков его творчества, один из самых основных питающих его корней.

Десяти-одиннадцатилетним мальчиком Гагарин поступил в гимназию, и жил в Архангельске, лишь на Рождественские святки и на летние каникулы приезжая к родителям в деревню. Он окончил гимназию уже при большевиках и поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета. Но в университете он проучился всего один год и должен был в середине 20-х годов вернуться на север России к матери, так как отец его к тому времени умер, и ему пришлось работать (по лесному делу), чтобы кормить мать и младшую сестру. Жил он в Архангельске, но много ездил, в связи со своей службой, по всему северу России. Во время своих поездок он мог близко познакомиться со многими сторонами советской жизни: с бездушной бюрократической машиной, с умиранием, или, вернее, систематическим уничтожением деревни (бывшей до большевиков такой зажиточной, своеобразно самостоятельной и самобытной в Северном крае), с варварским уничтожением большевиками лесных сокровищ России, с рабским трудом. Особенно поразил его вид несчастных раскулаченных сотен тысяч русских крестьян, насильственно вырванных из насиженных мест и перевезенных на север.

Потрясающие картины приезда раскулаченных в Архангельск, размещение их по местным церквям, на скорую руку превращенным большевиками в тюрьмы-казармы, – занимают центральное место в другой книге Гагарина «Великий обман» – лучшей, может быть, книге, написанной о большевизме, вышедшей, к сожалению, пока только на иностранных языках (по-немецки и по-голландски). Отсюда непримиримая вражда Гагарина к большевизму. Он знал русский народ, знал зажиточную, полную традиций и своеобразного уклада жизнь русского Севера, и возненавидел ее разрушителей, возненавидел раз навсегда поработителей русского народа. Это – второй, вдохновляющий основоположный

мотив всего его творчества.

Можно без преувеличения сказать, что основным пафосом всей его литературной деятельности за границей, с момента его выезда из России (с 1933 г.), была борьба за освобождение России, борьба против большевизма и – тоска по России, что ярко выразилось в «Возвращении корнета».

Другим решающим фактором жизни Гагарина в Архангельске было знакомство с рядом ссыльных семейств, выселенных большевиками из Москвы и переселенных на север России после отбытия членами этих семейств заключения в советских тюрьмах и лагерях. Между ними были представители высокой культурной традиции. Европейский Запад, с его литературой, культурой, сокровищами искусства, через этих друзей сильно воздействовал на восприимчивую и духовно-утонченную душу Гагарина. Он зачитывался «Фаустом» Гете, лирикой Гейне, Шекспиром и Байроном, французскими поэтами и романистами, книгами по итальянскому Возрождению.

В 1933 г. ему вместе с семьей его жены (он женился в Архангельске на Вере Сергеевне Арсеньевой) удалось выехать за границу, благодаря усиленным хлопотам за семью Арсеньевых великобританского правительства (у Арсеньевых были влиятельные родственники и друзья в Англии). За границей Гагарин провел 15 лет (он был убит грузовиком в октябре 1948 года в Мюнхене). Большею частью он жил в Германии, в Кёнигсберге и Берлине, позднее в Зальцбурге и Мюнхене, но ездил и в другие страны – Францию, Англию, Италию и Голландию. Целый год он учился в Бельгии на философском факультете Лувенского университета, занимаясь главным образом историей искусства. После этого он окончил лесную академию в Эберсвальде около Берлина и получил место в Международной организации по изучению лесов, имевшей тогда свою главную квартиру в Берлине. Это давало Гагарину возможность даже в самые тяжелые годы нацистского режима всегда быть в контакте с представителями других стран (особенно со Швейцарией). Гагарин много писал – и статьи о России, о большевистском гнете, и новеллы, и большие книги. Писал он по-русски, потом и по-немецки, а статьи его о России печатались в переводах на английский, французский, голландский и скандинавские языки. Он чувствовал себя одновременно и свидетелем того, что происходит в России, и художником. Обе эти черты сливались в одно: это было свидетельство, пронизанное любовью и тоской воспоминаний, воплощенное в художественный образ.

Евгений Гагарин займет почетное место и, может быть, одно из самых видных мест среди молодых писателей русской литературы в эмиграции, – не какой-либо специальной «эмигрантской» литературы (да и есть ли такая специально «эмигрантская» литература?), – он слишком кровно связан с Россией, – нет: именно русской литературы, единой русской литературы, но свободной, и потому не могущей нормально проявиться в условиях советской жизни и расцветшей в эмиграции. А в нем, ввиду особых условий его культурного и духовного развития, соединились: глубокое знание и чувство подсоветской России, и органическое приобщение к основному, историческому, традиционному и динамическому в то же время (и глубоко антибольшевистскому) источнику – русской духовной культуры. Это делает его творчество особенно ценным.

Николай Арсеньев

Поездка на святки

I

Во время большой перемены во дворе гимназии появился – помню – сторож Матвей и, выйдя на середину, приложил ладони ко рту, силясь перекрыть наш шум, – у нас же шел целый снежный бой. Был Матвей маленького роста, тщедушный, со слабым голосом, сердцем необыкновенно добрый, и не пользовался у нас никаким уважением; не верилось, что он служил когда-то в солдатах, участвовал в японской войне, получил Георгия за храбрость и даже был ранен и сидел в плену. И теперь никто не обращал внимания на его усилия; по-прежнему свистели комья снега, и кто-то даже запустил в самого Матвея; ком с треском лопнул, ударившись об его голову. По двору понесся хохот. Матвей подумал и затопал ногами. На минуту всё стихло и, воспользовавшись тишиной, он закричал поспешно:

– Воронихина с третьего класса – к господину инспектору!.. Без промедления!..

У меня дрогнуло сердце. Вызов к инспектору обыкновенно не означал ничего доброго. Но что грозило мне?.. На моей душе было много грехов: тайное чтение посторонних книг во время уроков, участие в драке с реалистами, куренье за шкафом в раздевалке, кнопки на стуле учителя немецкого языка Карла Петровича... Что дошло до его сведения? «И как раз перед рождественскими каникулами!» размышлял я с тоской, поправляя на ходу мои мокрые, торчащие волосы и стряхивая снег с куртки и штанов... «Доносчик, без сомнения, это Козел – подумал я со злобой о добрейшем нашем старом классном надзирателе Петре Ивановиче – хочет лишить меня каникул»... Матвей шел впереди, бормотал что-то под нос и, от времени до времени, оглядывался на меня – злорадно, как мне казалось. Перед столь знакомой мне, обитой кожей, массивной дверью в инспекторскую Матвей остановился и сказал шепотом:

– Погоди маленько, сейчас спрошу. – Он робко приотворил дверь и, весь согнувшись, протискался сквозь щель.

Инспектором нашей гимназии был молодой историк по имени Николай Петрович, кумир всех городских дам и гимназисток из женской гимназии напротив, что было особенно возмутительно. «Просто цапля со слепыми глазами» – думал я о нем, не без трепета стоя у двери. Мои мокрые, никогда не ложившиеся волосы сейчас торчали, несомненно, еще ужаснее, пылавшее лицо, вероятно, лоснилось от пота... А брюки внизу были все мокры от снега, носки ботинок побелели... «Пропал, – подумал я горько, – совсем пропал»... Дверь между тем отворилась, Матвей появился на пороге и, осмотрев меня неодобрительно, с укоризненным сожалением молча пропустил внутрь. В кабинете инспектора, обставленном темной кожаной мебелью и еще какими-то предметами, – у меня никогда не хватало ни времени, ни духу осмотреться, ибо бывал я зван сюда только по плохим делам, – стояла, как всегда, легкая смесь табаку и духов. Это еще больше восстановило меня. «Как баба!» – подумал я. Отец говорил, что уважающие себя мужчины не должны душиться. Ни один англичанин никогда не душится – прибавлял он, как будто против этого и возразить было нечего. Но, очевидно, он был прав, потому что я никогда не находил, что бы ему возразить.

– Воронихин! В каком ты виде! – закричал инспектор, увидя меня.

– Упал в снег, господин инспектор! – пробормотал я, стараясь встать за этажерку с книгами так, чтобы хоть не было видно моих ног, и думая: «Пронеси, Господи! Авось ничего страшного».

– Упал в снег! По-моему ты в кипяток упал, – как разваренный рак красный. У тебя не голова, а помело! Хорош! – Он отвернулся вдруг от меня, подошел к низкому окну, похожему на нишу, и остановился.

За окном падал редкий снег, а в этой белой сетке бились, коротко вспыхивая, солнечные лучи, и мне вдруг невероятно ясно вспомнился наш дом в деревне, наш сад в снегу, и, как иногда, припав лицом к стеклу, я долго в одиночестве стоял в зале, смотря на медленно падающие хлопья, на синиц, прыгавших под черными кустами... Совсем недавно я получил из дому письмо и считал теперь дни до Рождественских каникул. Оставалось всего десять дней – и неужели теперь всё пропало?.. Инспектор стоял и молчал. Может быть, всё-таки ничего страшного, или же очень страшное, – раз он так долго молчал?.. Может быть, исключат из гимназии? – пронеслось вдруг в моем мозгу, и радостная жуть охватила меня. Если исключат, – то можно будет совсем уехать домой, в деревню; однако, что сказал бы тогда отец!.. Я так поник в свои думы, что совсем забыл, где я стоял, и чуть не потерял равновесия; инспектор оглянулся, лицо и глаза его выражали изумление, будто он очнулся от сна.

– А, ты еще здесь, – проговорил он медленно, – по просьбе твоих родителей, отпускаю тебя на неделю раньше на вакансии. Завтра получишь дневник, за поведение 3. Что рот раскрыл? Кругом, марш!.. Перед отъездом явишься ко мне!..

Всё это случилось так быстро, было вообще так невероятно, что я сидел, как блаженный, до конца уроков. Оставались еще урок немецкого языка и рисования, но из того, что объяснял Карл Петрович, я ни слова не понял, старался только не сводить глаз с его лица – он требовал этого. Лучшими учениками были у него те, кто весь урок, не отрываясь, смотрели ему в рот, и едва кто-нибудь отводил глаза, он свирепел и кричал: «Смотрите на меня!». Был он потехой и мучеником всей гимназии, этот рыжий, длинный и, в сущности, добрый и несчастный еврей, от которого сбежала жена, оставив ему ребенка; утверждали, что он сам сажал его на горшок. Чувствовал он себя, вероятно, всегда, как травимый зверь. В особенности не выносил его наш француз М. де Комб, ярый патриот Франции, эстет и сумасшедший. Проходя мимо Рабиновича, он корчился от ярости и шипел: «Жид!.. Бош!..», что доставляло нам великое удовольствие; вообще, по мере сил, мы делали жизнь несносной этому бедному еврею. Он всегда подозревал очередную гадость и это «Смотрите на меня» было лишь самозащитой. В тот день я весь урок не сводил с него глаз: нельзя было рисковать попасть на замечание, а, кроме того, мне было почему-то жалко его, –

жалко, что он еврей, одинок, и сам сажает сына на горшок, а больше всего, что у него не к кому ехать, и на Рождество он останется, как и всегда, в городе. Это казалось мне невероятным, ужасным.

В пансионе вечером я нашел новое письмо из дому. Писали, что через неделю вышлют за мной лошадей, выедет Егор – наш кучер. До ближайшей станции железной дороги было от нас шесть суток езды; там он меня должен был встретить и снять с поезда. Хозяйка пансиона, где я жил, вместе с двумя другими гимназистами, была немка Амалия, старая дева. Это была типичная хозяйка немецкого пансиона, рабыня своих вещей, существо невыносимое. Мы не смели у нее долго сидеть в креслах, ибо протирался плюш; мы должны были снимать у порога обувь, чтобы щадить пол; мы не имели права вешать в комнатах свои картины или фотографии, ибо это портило обои. Что мы могли? – трудно сказать. Два других гимназиста были постарше меня, и она ежедневно писала им записки, непременно начинавшиеся словами: «Bitte nicht...». Боже, какое это было пошное, самодовольное, непоколебимо уверенное в своей правоте существо!.. Больше всего на свете она любила деньги, кофе и уборку комнат. Сквозь стену мы слышали, как каждый вечер она распекала свою прислугу за расходы, громко вздыхая: «Ach, so viel Geld! Ach, das schone Geld!». Кормила нас, однако, отвратительно: со дня на день битками из дешевого фарша, наполовину замешанного хлебом и картофелем. Кофепитие было для нее священнодействием; отхлебнув глоток, она издавала от блаженства протяжный звук вроде «м-м-мм», глубоко всасывая воздух. Россию она презирала больше всего за то, что здесь не принято было приносить с собой в кофейные для заварки собственный кофе (Kaffe br?hen lassen), и потому оно стоило здесь «So viel das schone Geld». Раж ее во время уборки комнат был беспределен. Она была готова умертвить нас за малейшее пятно, за сдвинутый стул, и никакими мольбами – даже во время болезни – мы не могли получить позволение дольше остаться в постели. Как я был рад хоть на две недели сбежать от этой прусской добродетели, от этих рачьих зеленых глаз, от этих седых буклей, от мясистого тела!.. Весь вечер я укладывал свой чемодан; замыкал его на ключ и вновь открывал, пересматривая вещи – не забыть бы чего-нибудь. Амалия вдруг необыкновенно ко мне подобрела – входила поминутно в комнату, гладила меня по голове, к моей великой досаде, и не сделала замечания, когда я взял к вечернему чаю два куска сахара, вместо одного. Три недели комната будет пустой, меньше уйдет света, не будет портиться мебель, а плата оставалась та же, за полный пансион – как Амалии не радоваться!.. Она уже дала мне письмо к моим «liebe Eltern», где нижайше поздравляла их с «великий праздник Рождество и щастливый новый год», и униженно просила прислать ей из деревни «провианту, чтобы лучше питайт Ваш сын». Из «провианту», что

присылали ей из дому, нам мало что перепало, а Амалия была убеждена, что она нам, как «заботливый мать».

Ночью я долго ворочался без сна, распределяя деньги на подарки. В месяц мне полагалось 10 рублей карманных денег. Сюда входили трамвай, почтовые марки, кино, церковь и все другое. Из этих же денег я должен был выкроить и на подарки. Всем у меня было уже припасено, не хватало на коньки приятелю, Ване Бандуре; писал он мне из деревни, что у всех есть коньки, у него одного нет, и видно хотелось ему их иметь страшно. У матери Бандуры – отец его давно умер – была самая бедная изба в деревне. И, стыдясь, я вспоминал, что мог бы отлично сберечь на коньки, если бы реже покупал шоколад у татарина. Татарин Ахмет держал лавку как раз на пути в гимназию. «Золотой ярлык» стоил у него 10 копеек – невозможно было устоять! Так я и проел, оставив без коньков друга!.. Были у меня для него лишь всевозможные крючки для удочки, – летом мы на целые ночи уходили вместе удить.

А утром выпал ясный, звенящий от мороза день. Городской сад, мимо которого я ходил в гимназию, стоял весь в пепельно-жемчужном дыму, стволы берез были точно из розового мрамора, и опушенные инеем деревья казались охваченными белым пламенем – были как пылающие белые костры. И воздух так живительно-колюче, обжигая, входил в грудь; остро пощипывало щеки и уши, но я ни за что не хотел потереть их руками – это было бы так не по-мужски! Я быстро бежал по мостовой, и всё было на мне как-то особенно ладно сегодня: и моя новая гимназическая шинель с барашковым воротником, и легкие шевровые ботинки, – даже в 30° мороз нам запрещали надевать калоши. Среди пустых улиц особенно звонко стучали шаги по обледенелому тротуару, и я чувствовал необыкновенный подъем сил, в особенности, когда обгонял гимназисток, парами шедших в гимназию. Мне казалось, что я слышу, как они шепчутся за спиной обо мне, и сердцу моему становилось жарко, – столь стройным и молодецкатым я себе представлялся, и я уже думал о том, какое произведу впечатление дома, как будут оглядываться, когда, в шинели с блестящими пуговицами, я пройду сквозь ряды в церкви...

Поезд уходил вечером. Вокзал лежал на другом берегу реки; едва стало смеркаться, как я пошел брать извозчика. Они стояли на площади у собора. Одного из них я давно облюбовал. Его звали Ефимом. Был он черен, как цыган, с красивой курчавой бородой и необыкновенно диким голосом. Он был часто пьян и гнал тогда лошадь во всю мочь, привстав на сиденье, круто натянув вожжи. Снег брызгал из-под полозьев со свистом, как вода. «Только бы он сегодня был

там?» – думал я. Мне повезло: я нанял Ефима, и он был уже навеселе И когда я вскочил в маленькие сани на железных узких полозьях и уселся в задок, покрыв ноги полостью, а Ефим, гикнув, понес меня по улицам города, где уже горели огни, мне показалось, что жизнь прекрасна, что все смотрят на меня, – я чувствовал себя героем.

II

До отхода поезда оставался еще час, но всю дорогу тревожно билось сердце – а вдруг опоздаем или не останется мест. Говорили, что поезда переполнены военными, расписания не соблюдают. И, выглядывая из-за спины Ефима, я с напряжением смотрел во тьму, в снежный дождь, рвущийся из-под копыт, – где-то далеко, на том берегу, висело над землей светлое пятно, как зарево. Это был вокзал.

И вот мы лихо вкатываем на берег, совсем запрокидывая сани на бок, и осаживаем у деревянного здания вокзала; кругом – тьма, лишь из окон течет чахлый желтый свет. – «Н-но!» – дико кричит Ефим и соскакивает с облучка. – «Рубль на водку, лихо ехал» – порываюсь сказать я, но у меня выходит одно какое-то неловкое бормотание, и, торопясь и нервничая, – хотя совсем нужды нет, – я ищу кошелек, а он, как на зло, куда-то запропастился: ни в том, ни в другом кармане «Доброго пути!» – говорит Ефим на прощанье. Билет куплен, и я вхожу в зал 1 и 2 класса, стараясь придать себе независимый и взрослый вид, перебороть робость: первый раз я самостоятельно еду по железной дороге. А в зале – неожиданно яркий свет, пахнет кухней, жареными котлетами, шипит и свистит на стойке огромный медный самовар, за стеклом на блюдах – нежная, воспаленно-розовая ветчина, всяческие колбасы, сыры, семга, икра и всякая всячина. Носятся половые, взмахивая как-то по особенному, сбоку, салфеткой, изгибаясь перед гостями, и мне кажется, что все столы заняты, и что на меня все смотрят с недоумением. Сажусь я за первый попавшийся столик в углу, где меня совсем не видно. Тут сижу я и мне хочется, чтоб подбежал лакей, и я мог ему крикнуть: «услужайший!», как зовут его громко вон те купцы за столом, пьющие водку. Но ко мне никто не подходит, а я не решаюсь крикнуть, и так сижу, всё держась рукой за свой саквояж, – говорят на дорогах теперь много крадут. Когда, по-моему, уже пора уходить, вдруг склоняется надо мной лакей и, обмахивая стол, не смотря на меня, спрашивает: «Прикажете-с?..». И я поспешно, в смущении, сам не зная отчего, заказываю: «Пожалуйста, стаканчик

чаю с пирожком» – и весь заливаюсь краской: вероятно, лакей презирает меня за этот пирожок!.. И как раз перед самым отходом поезда!.. Обжигаясь, я пью чай и поминутно поглядываю на часы – уже пора. А снаружи полная тишина. Потом вдруг раздается лязганье, визг колес и дыханье огромного зверя, надрываясь кричит что-то человеческий голос, – я не выдерживаю и выскакиваю на перрон. Поезд подали. Но вагоны еще темны, двери заперты, и я долго жду пока отопрут. Крыши и бока вагонов густо, космато обросли снегом, обледенели; весь поезд кажется огромным мохнатым зверем, только что прорвавшимся сквозь снежную чашу. Из-под вагонов рвет холодный пронзительный ветер, вздымая веером снег, впереди долго с криком грузят багаж и почту, проходит, кажется, вечность, пока раздается первый звонок. Бьет он долго, протяжно, но на перроне по-прежнему темно, сравнительно пусто, только у третьего класса толпятся мужики и бабы с мешками на спинах, с чайниками, с огромными корзинами. Они теснятся около дверей, минуют друг друга и лезут в вагоны, гремя чайниками, а проводники орут: «Стой, обожди, черти!». И меня тоже берет оторопь, хотя у вагонов второго класса еще никого нет. Проводник, в черном пальто со светлыми пуговицами, в барашковой шапке, лениво прощелкивает билет, а в вагоне много мест оказывается – к моему удивлению – уже занятыми – надо было, очевидно, дать заранее проводнику «на чай». Но теперь мне всё равно: я в вагоне, значит, поеду, главное было сесть, в крайности можно и постоять... Этот трепет перед посадкой и покорность на муку во время дороги никогда уже не оставляли меня с тех пор, как, вероятно, всякого пассажира в повоенной России. – Бьет второй звонок, и в проходе вагона начинается столпотворение: поминутно, разом во всех купе, открываются двери – никто не сидит спокойно, все теснятся по коридору, и стоит такой крик, что кажется, случилось какое-то несчастье. Скорей бы ехать!.. Бьет, наконец, третий звонок, но проходит еще много времени, прежде чем мы, со скрипом и визгом, будто давя каких-то гадов, трогаемся.

В купе со мной еще четверо: молодая женщина в черной меховой полушубке, с белой косынкой сестры милосердия на голове, молодой офицер в длинной шинели, с необыкновенно узкой тальей, какая-то дама неопределенных лет, и господин в пенсне. Этот вошел последним и, посмотрев на меня, спросил:

– Вы далеко едете... э... э... молодой человек?

– До Холмогорки, – ответил я удивленно.

– Всего, стало быть, три станции. А я на Москву – ну вот, я ваше местечко и займу, – он уселся рядом со мной, совсем забив меня в угол. Сделал он это столь уверенно, что у меня не хватило духу возражать. У него было самоуверенное рыжее лицо, огромный кадык, и говорил он противным тенором, постоянно добавляя: «Н-дас». Он тотчас же стал есть, достав из саквояжа провизию: вареные яйца, колбасу, копченые селедки в корзинке; проводник принес ему кипяток. Мне этот пассажир стал противен с первого взгляда. Но всё внимание мое привлекала пара: молодой офицер и дама в косынке. Они не были мужем и женой, по-моему мнению, и вызывали во мне какое-то волнительное любопытство. И то, как они смотрели друг другу в глаза, на некоторое мгновение дольше, чем обычно, задерживаясь друг на друге взглядом, и то, что он часто – и казалось бы невзначай – касался рукой или локтем ее фигуры, – всё это наполняло меня неизъяснимым напряжением.

– Н-дас, – заговорил господин в пенсне – так Гришу-то кончили-с. Дай Бог, – настает для России новая эра!

– Что, кого кончили? – оживился офицер.

– Тсс! – Господин приложил палец ко рту: – Не слыхали еще?.. Великие дела свершаются в Петербурге...

И они стали говорить о непонятных мне вещах. А я всё смотрел на даму в косынке, с незнакомым мне до тех пор любопытством, воспринимая его смутно, как нечто греховное; иногда, очевидно, чувствуя мой взгляд, она вскидывала сама на меня глазами, – я постыдно краснел, и у меня леденело странно сердце. В конце концов, я вышел в коридор. У окон стояли группы людей, и до моих ушей вновь долетело это имя: «Гришка». – Кто же мог быть этот таинственный Гришка, которого кончили? О Григории Распутине я ничего не знал тогда. Это его убили в тот день. И, вероятно, с этого убийства началась страшная, темная пора России, ибо никакое добро не начинается со зла и злом не оправдывается. Но тогда, стоя у окна в коридоре вагона, я не думал об этом, не чувствовал, что пришел конец той России. – В проходе тепло, даже жарко, и окна сверху немного оттаяли. Клубясь катится под колесами пар, как будто резвятся молодые котята. Поезд мчит сквозь кораллово-белую чащу леса, иногда вырываются поляны, залитые зеленым лунным светом, и мне, почему то, хочется запечатлеть их – вот это дерево там, одинокое, узнаю ли я его на обратной дороге?.. И уже, как всегда в моей жизни, я думаю о конце каникул, думаю с тоской, еще не начав их, и в то же время кажется невероятным, что придет, действительно, их конец, как

кажется невероятным теперь, что когда-нибудь придет конец жизни... Всё сильнее и сильнее затягивает окно, сплошной белой стеной хлещет мимо дым; сквозь прорывы я вижу иногда поля, без границ и без края снега, щиты у железной дороги с высокими наметами снега. И так долго стою я, с чувством своей огромной потерянности в мире великой снежной России без конца и без края...

Поздно ночью приезжаем на железнодорожную станцию, где меня должен был ждать Егор.

III

Егора, нашего работника, я тотчас же замечаю. Он стоит посредине перрона в длинной овчинной шубе в талью, с позументами на груди. И при виде его, дом наш, наша деревня, мое недавнее детство, – всё это разом оживает, принимает форму, кажется столь близким.

– Егор, Егор! – кричу я с подножки вагона, и мне хочется бежать к нему, броситься на шею, но я удерживаю себя: недавно дал себе зарок не показывать своих чувств, быть сдержанным, строгим, как англичанин... Это является, по моему, основным правилом для джентльмена.

– Здравствуй, Егор! – говорю я медленно, когда он приближается к вагону: – Хорошо доехал? Как кони? Вот, возьми вещи, отнеси в возок. Да надо будет запрягать.

– Сказал – запрягать, – запряжено уже. С раннего утра здесь находимся. На чугунке-то не пристал? – спрашивает он меня, глядя на поезд и не обращая ни малейшего внимания на мою шинель. – Может в буфетной чаю выпьем? У меня для тебя провизия есть. Анна Васильевна, – имя моей матери он произнес особенно почтительно – снабдила, почитай, на целый месяц.

И хотя у меня нет ни малейшего желания пить сейчас чай, до того мне хочется ехать, я должен подчиниться. В буфетной кисло и едко пахнет старым табачным дымом, керосином от висячей лампы, тускло чадающей под потолком, пахнет

овчиной и рыбой – от мужиков, пьющих чай за большим столом, и я с трудом сижу, – от тоски меня даже начинает клонить ко сну. А Егор заказал кипяток – два прибора, разделся, разложил свою корзину, и мы пьем чай по крайней мере час.

– Покушай, покушай, – угощает меня Егор и говорит даже в рифму, – ехать будет теплее, сон охватит скорее. – Он достает из корзинки белые пирожки с мясом, с яйцами, с семгой, что так бесподобно пекут у нас дома, – мать прислала их мне на дорогу. И как они вкусны после «hygienische Kost» Амалии – просто тают во рту!

Наконец, Егор идет всё-таки к лошадям. Они стоят за вокзалом у изгороди. Одну из них я узнаю сразу: это Воронко, отец любил запрягать его зимой в сани, а пристяжная мне не знакома. Лошади густо обросли шерстью, снегом – похожи на каких-то лесных мохнатых зверей. Воронко не узнал меня. Напрасно несколько раз я подходил и гладил его по морде – он даже не заржал, только лениво посмотрел на меня одним глазом. А пристяжная была новая – очевидно, отец купил еще одну лошадь, хотя было их у нас и так без числа, стояли в конюшне без всякой надобности и употребления, только овес и сено изводили. Прислали за мной, к сожалению, розвальни, а не маленькие санки, как я втайне надеялся. Эти маленькие санки я очень любил. На них отец часто ездил по делам: были они легкие – не шли, а летели над землей. «Воронихин опять поехал догонять ветер» – говорили про отца мужики, когда он ездил в этих санях. В задке розвальней укреплена круглая парусиновая кибитка с пологом впереди, сани до полна набиты сеном, поверх сена – половичок, а для покрытия – огромная медвежья шкура. Для меня присланы заячий тулупчик и валенки. Пока Егор укладывает и увязывает вещи в передке розвальней, я залезаю под полог в кибитку. В кибитке темно, пахнет слежавшимся сеном. Сначала лежать неудобно, всё время хочется менять положение, но скоро тело осваивается, привыкает, и уже лень пошевелиться. Смутно я слышу, как ходит Егор, подтыкая сено с боков, как остро жуют лошади. – Скорее бы ехать!.. Но вот Егор садится в передок, сани вздрагивают. «Но-но, нно» – кричит Егор – и со скрипом мы снимаемся с места. И так едем мы медленно, раскатываясь иногда по бокам, мерно идут кони, клонит ко сну, – а кругом тишина, и нельзя уже сказать, давно ли мы едем?.. С чувством, что мы спускаемся куда-то под гору, в какую-то великую, темную тишину, я засыпаю...

Эту первую ночь в кибитке я совсем не помню; осталось лишь смутное впечатление зыби, как будто я спал в лодке, и тихо била о борта волна. А когда я

проснулся, мы уже стояли. Полог был откинут. Было еще раннее утро. На зеленом, ледяном небе стояло красное, как тюльпан, холодное солнце. В деревне топили печи. Над избами вился столбом дым, пахло печным чадом и ржаным хлебом. Посередке, у колодца, бабы доставали воду, скрипела цепь и шумела бадья, во дворах заливались лаем собаки.

Дни, когда мы останавливались кормить, казались мне бесконечно долгими, этот первый день в особенности. Где-то непостижимо далеко – еще шесть дней пути! – лежала наша деревня, наш дом, совсем затерянные в огромном мире, в снегу и далях. Этого чувства дали – без границ и без краю, без конца, без начала, – не знает Европа. Здесь – всюду границы, одно государство теснит другое. Здесь узкий и обозримый мир, понятный человеку; оттого, вероятно, европеец так самоуверен и самодоволен. А там мы смотрим прямо в Божий космос: в дали, уходящие куда-то внепредельно, в таинственный белый полюс, словно, в начало мира, где вечное молчание и первозданная хвала Творцу. И это чувство непосредственного стояния перед Богом, оно-то и отличает нас, вероятно, от Запада и делает во многом непонятными для европейца. У нас иной мир и иной Бог. И втайне мы все, конечно, презираем Европу.

С острым чувством этой беспредельности я долго стоял у окна в отведенной мне горнице, глядя на ледяные белые поля за деревней. Уже давно рассвело, на улице пробежали ребята в овчинных шубках, в шапках-ушанках, в валенках, с матерчатыми сумками через плечо, напоминая мне еще недавние годы: отец непременно хотел, чтобы я учился в народной школе, и две зимы, каждое утро, я бегал в нашу сельскую школу, вот как эти ребята, и, кажется, это было самое счастливое время моей жизни. Хозяин дома уехал в лес за дровами, Егор уснул на полатах, в избе, у печи хлопотала одна хозяйка – молодая баба с высокой грудью и полными плечами. В глазах у нее играет лукавое веселье, и видно, вообще, что она рада жить, что молода и полна соку; всё утро она, не переставая, болтала с Егором, то и дело заливаясь звонким хохотом. И теперь тишина, что стоит в избе, видно, не по ней; она входит в горницу ко мне с тарелкой, полной дымящихся лепешек:

– Покушай житничков горячих, только что испекла, – она ставит тарелку передо мной, и в нос мне бьет густой, тягучий запах горячего ячменного хлеба. – Кабы не пост, я бы тебя чем другим угостила, а в пост сдобного не пекём, – грех. А ты не хочешь ли рыжичков?.. Я принесу. – И, откинув дверь, вделанную в пол, она спускается в погреб.

Дом старый, ему лет двести, построен из могучих еловых балок. В первой избе стены не оклеены, дерево блестит благородным смуглым блеском столетий; меж балками лежит мох. Стены уже расселись, деревянный пол накренился к огромной печи, но в избе тепло, домовито, солидно – строили этот дом на века, на нерушимую, беспрерывно, как река, текущую, Богом освященную жизнь. В огромной печи с треском, выбрасывая искры, горят дрова; изгибаясь текут вверх в поддымник огненные языки, течет дым, густой, как вода. В большом углу, на божнице, под потолком, темные образа Спасу, Божьей Матери и Николаю Угоднику, поверх образов – домотканый узорчатый плат, вдоль стены – массивные, низкие лавки, напоминающие мне почему-то о древней боярской думе – всё, словно, допетровское, русское испокон веков, не занятое где-то на чужбине.

– Рыжички вкусные! – хозяйка ставит передо мной тарелку крохотных соленых рыжиков. – Сами летось брали – у нас их живет видимо-невидимо. А сей год, – в ее речи есть что-то церковно-славянское – а сей год уродились прямо тучи – не могли выбрать. Старые люди всё сказывают, пророчат, быть лиху. Верная примета: гриб тучей, беда не минуча. Перед войной в лето грибов было не оберешься. А, ты, с картошечкой – она приносит миску дымящегося, крупного, рассыпчатого картофеля, – я тебе маслицу постного улью – нет вкуснее пищи. – И, правда, мне кажется, что я никогда ничего не ел вкуснее этих рыжиков с горячим картофелем, приправленных постным маслом. А хозяйка стоит, подперев рукой бок, съедаемая любопытством, смотрит на меня жалостливым взором; лицо ее пышет от печного жару.

– А тебе не скучно в городе – одному-то? Домой-то, поди, вот как рад!

– Ах, так много дела, занятий, – отвечаю я важно, хотя мне хочется сознаться, как бесконечно одиноко и грустно мне в городе, но я дал слово не показывать своих чувств.

– А долго тебе учиться-то?

– В гимназии всего восемь лет, а потом еще четыре года в университете, а, может быть, и дольше.

– Ай-ты, Господи, – вот мука-то! Я всего три зимы в школу бегала – думала не вытерплю... Восемь лет! Скажи, пожалуйста. А чего ж ты форменную шинель

носишь с пуговицами – аль в офицера выходишь?

– Так полагается, – уклончиво говорю я.

– Для фасону, значит. А что это у тя за книжка – чудно что-то написано – не по-нашему.

– Это немецкая книжка.

– Немецкая! – говорит баба недоуменно – неужели они, нехристы, по этим по крюкам читать могут. Вот страсти-то! К нам в деревню – она оживляется – ерманцев пленных пригнали. Ничего, смирный народ, только делу мало смыслят. Дьячок с ими говорил – смеху-то, руками машет «Русс, русс, герман», – умора! – Она заливается хохотом.

IV

Еще далеко до полудня, а мне уже надоело читать, надоело сидеть одному в горнице, ждать. Надеваю шинель и иду на улицу. Как большинство северных деревень, она расположена в строгом порядке: дома не разбросаны, как на юге России, – где каждый двор свой отдельный, собственный мир и отчуждение, – они лежат в два ряда вдоль главной улицы, вытянувшись, точно по струне. Здесь единый мир, община, почти семейный круг, о котором так мечтали славянофилы, сроднившийся, сложившийся веками. Встречные смотрят любопытно-почтительно на мою темно-серую шинель со светлыми пуговицами, на форменную фуражку, с серебряными веточками, приветствуют на старинный лад: «Здорово жить» – и притом кланяются в пояс. Солнце еще тусклое, зимнее, но острые лучи уже роются и сверлят в снегу, изрытые поля похожи на белые бараньи шкуры. На конце деревни пилят лес пленные. Как у всех пленных, у них сизые лица, одежда обветшала, залатана, на ногах, поверх сапог, намотаны тряпки, пахнет от людей тяжелым, затхлым. Но вид сытый, работают не торопясь, скалят зубы, не умолкая говорят, переругиваются друг с другом.

– Wie geht es Euch? – спрашиваю я и уже сожалею о вопросе.

Все разом бросают работу, обступают меня, наперебой кричат: «Kalt, kalt... Unmöglich zu arbeiten!». В этом гаме голосов чужой речи я ничего не могу различить. Их немецкая речь совсем не та, которой учит нас Карл Петрович. Чего они хотят от меня? Кажется, они не жалуются ни на что, кроме холода. После, когда, возвратившись, я сижу у окна в своей комнате, пленные проходят обратно с работы в барак. За ними бредет один старый часовой. Из домов выскакивают бабы, суют пленным хлеб и еще что-то, а, подав, останавливаются, скрестив руки, долго провожают глазами... Никогда в Европе я не видал этой жалости к бедным, к арестантам, как у русского народа, вероятно, поэтому здесь, на западе, всегда богаче жили. Но и в России человек становится черствее: за милостыню пленным двадцать лет спустя там стали расстреливать, сажать в лагеря и даже возноситься этим.

К полудню вернулся хозяин из лесу. Егор давно уже проснулся. С полатей слез старик, лысый, с огромной сивой бородой, в длинной, пестрядиной рубахе и пестрядиных портках. Он помолился на образа и сел за стол в большой угол. Хозяйка поставила на стол каравай хлеба и дымящуюся миску. Старик перекрестился и стал резать хлеб – длинными, тонкими ломтями. Вокруг стола на лавках сели хозяин, хозяйка, Егор и дети. И, перекрестясь, молча они стали есть – все из одной миски: зачерпнув ложку, медленно несли ее ко рту, подставив ладонь, чтобы не расплескать. Они ели молча, степенно, сосредоточенно, и мне нравилась эта первобытная трапеза; так, верно, ели здесь многие века. Ели они уху: был пост, мяса в пост крестьяне в старой России никогда не варили. За первой миской хозяйка принесла и поставила вторую, и опять также мирно и степенно они хлебали деревянными цветными ложками; сама миска – тоже цветная, расписанная изображениями сказочных зверей: расписана и деревянная солонка в виде судна викингов. А когда покончили со второй миской, каждый собрал крошки со стола и опрокинул в рот – грех сорить хлеб Божий, этому учила и меня всегда няня Ивушка.

– А что в городе нового? – спросил старик, усаживаясь у окна после обеда. – Давно не бывал, не ндравится мне в городе.

– В городе жизнь веселая, – ответил Егор к моему удивлению, ибо он не доезжал до города. – Казенки царь батюшка закрыл, а народ пьяной. – Он весело скалил зубы, почему-то весьма довольный тем, что «народ пьяной».

...Грех, грех, – шепчет старик: – А что, замирения не слыхать? Как насчет замирения-то? Вот, Петруху требуют, – он указал на сына. – Кто будет работать?

Всё прахом пойдет. Герман миру не просит – ан?

– Герман всю Рассею хочет взять, – отвечал убежденно Егор, – хочет наказать, что самого главного царского советника кончили – царица-то, ведь, ерманка – ну, слышал, а у нее советник был ерманский, советника-то ее и кончили – пойдет теперь ерман до самого Питеру, бунтовщиков, убийцев этих самых шупать.

Егор был фантазер. В его уме всё принимало какие-то фантастические формы и объемы, причем сам он был всегда глубоко убежден, что передает беспристрастную истину. И сейчас он, вероятно, слышал что-то о таинственном «Гришке» и создал уже миф.

– Жалости в людях не стало, – прервал его старик, вот что я тебе скажу. Прежде народ жалостилен был. А теперь, – зверь и тот отходчивей. Волк – он разве своего тронет – волка-то? Да будь он при последнем вздохе от голоду – вот как этой зимой – он те своего ни за что не тронет. А тут люди друг друга ружьем, пушкой, – чем попало. Отвернулся от нас, грешных, Господь.

Теперь и я знаю, что этот старик был глубоко прав: в мире стало мало жалости. Для счастья на земле не надо ни политических учений, ни партий, – надо, по-видимому, только побольше жалости в человеческом сердце, как старик говорил. Он горевал о том, как нарушена жизнь войной, всё жалел, что семянного быка не купил. «Триста рублей просили до войны за бычка, а теперь тысячу требуют. Страсть какая!», ужасался старик: «Тысячу за одного бычка! Да я всю жизнь свою за тысячу проработал, – конец, конец миру. А и чего хорошего ждать?.. Ране народ был степенный, дело вел со смыслом, перекрестясь, а ныне все куда-то торопятся, рыло у всех скобленное, бороду секут – все на один лад, прости Господи, лба никто не перекрестит. А всякое дело со лба начинай – тем мир и стоял».

V

Высоко, в синем хрустале неба невидимо текли нежные, белые тучи – как караваны каких-то неведомых райских, белых птиц. В мире был такой необыкновенный свет, была такая прозрачность и тишина, что, казалось, в нем не должно было быть ни зла, ни добра, ни вообще страстей. А между тем, где-то,

на самом деле, кипела война, – до того, впрочем, далеко отсюда, что в нее трудно было даже и поверить. По улице проходили длинные обозы, одни сани за другими, покрытые рогожами. Везли для продажи по деревням свежую селедку, навагу, которую так вкусно жарили у нас дома. Эти подводы я помнил с самого раннего детства. Сани с покатом набиты мерзлой рыбой, сверху на рогоже лежат мужики в тулупах, спят, а лошади, мохнатые, увитые снегом, бредут сами, тихо, понунив головы. Монотонно, негромко звенят на дуге колокольчики, скрипят на разъездах полозья... Так идут эти возы тысячи верст, лошади сами знают путь.

А Егор стал между тем собираться. Предстоящий волок был особенно долгим – до ближайшей деревни около 60 верст. По середине волока, в лесу, было, впрочем, несколько избушек для проезжающих. В плохую погоду, в пургу, там оставались даже и переночевать. Такие избушки стоят на Севере в каждом волоке. Проезжающий найдет в них сухие дрова, спички или кремень, чтоб высечь огонь, соль, а то и сухари и сухую рыбу. Каждая подвода оставляет что-нибудь для следующей.

Вскоре после обеда мы выехали.

И вот опять идет по бокам снежный строй леса, и эти опушенные, отяжелевшие ветви елей похожи на белые пушистые лапы зверей. Сани скользят ровно, иногда раскатываясь в колее, отчего еще более туманит голову, клонит ко сну. Егор уже накрылся с головой овчинным тулупом, лежит не шевелясь. Возжи висят, лошади бредут сами; негромко, немолчно звенит на дуге колокольчик – единственный звук в этой белой, снежной тишине. Воздух постепенно синеет, густеет, и где-то вдали над лесом встает и плывет по голубым волнам облаков солнце, как огненный корабль. Всё это вижу я смутно, в полузабытьи, и белые лапы елей кажутся мне, сквозь слипающиеся веки, воздетыми вверх руками, а деревья – людьми на молитве, в устремлении к небу. И так едем мы сквозь лес и сон... Это самый длинный волок – голодные волки бродят стаями – вспоминаю я тревожно разговор в деревне, но тотчас же тревога слабеет, и вновь смутно, как в ином мире, воспринимаю я скольжение саней, раскатыванье по колее, тихий звон колокольчика, холодный звук копыта, ударяемого о другое, мерную, как ход часов, поступь лошадей... Иногда сани берут резко в сторону, проваливаются в снег, слышен звук других колокольчиков, скрипят рядом возы, Егор с кем-то говорит, переругивается – очевидно, мы обгоняем подводы с рыбой. А там опять тишина, трусят ровно кони...

И вдруг, разом я прихожу в себя – уже темно, мы едем значительно быстрее, почти рысью, то и дело цокают копыта; слышно, как болтается брюхо у лошадей. Сзади, за нами, не отставая, стоит протяжный вой. Это – волки! Их вой мне давно знаком. Отец часто брал меня по своим поездкам, и я не раз слышал волчий вой. Вероятно, они бегут за нами, скорее всего одна пара или две; в стаи волки редко собираются, только в большой голод. Бегут они за нами в надежде, что обронят им что-нибудь из саней, или бросят подачку; сами волки на человека редко нападают, разве только обезумеют от лютого голода. Бояться решительно нечего, а всё-таки жутко от этого воя в темноте. Кони всё усиливают бег, храпят... Сон пропадает на время, а потом вновь одолевает – сначала чуткий, короткий, тревожный; но вой становится всё слабее, слабее, пока совсем не пропадает: не знаю, сплю ли я или волки отстали на самом деле?.. Прихожу я в себя от какого-то толчка, рушится тревожно сердце – мы стоим. Вокруг слышны голоса и особенно выделяется один – молодой, теноровый; без усталости что-то рассказывает, жалуется, тянет слезливо:

– Ах, телка-то, до чего ж хороша была! Что тятенька скажет. Боюсь!

– А ты, дурная голова, об чем думал, – пошто к обозу не пристал?

– Да я уснул – думал учую.

– Учую – вот теперь учуял!..

Егор откидывает полог кибитки – стало быть, кормить лошадей остановились, надо вылезать. Мы стоим в лесу, подле какой-то избушки, на небе, в дымном кругу, – месяц; в его холодном свете лес блещет, как белая кольчуга. Кроме нас, тут еще две подводки. Лошади жмутся друг к другу, непрестанно поводят ушами. Около саней бродит молодой парень в полушубке, подвязанном кушаком, с шапкой-ушанкой в руке. Парень этот гнал телку в соседнюю деревню. Была телка привязана сзади к саням. По дороге парень уснул, отстал от обоза – телка не то отвязалась, не то напали и разорвали волки. Парень плачет, не знает, что делать.

– Таперь делать нечего, – говорит Егор, – пиши пропало! Таперь батько-то прочешет спину, я бы те прочесал!

В избушке мы должны заночевать, – дальше Егор не едет: кони устали, в лесу полно волков, надо ждать свету. Коней распрягли, поставили полукругом к избушке, дали сена. Но кони бьются в кучу, озираются, прядут ушами, не едят – чувствуют, верно, близко волков. Тщетно я всматриваюсь во мглу – ничего не видно; только изредка раздаётся легкий треск, звук быстрого движений. У волков отнюдь не светятся глаза в темноте, как обыкновенно пишут; в лесу волка трудно заметить. Человека они чувствуют издали и огибают это место за версту. С человеком у них, очевидно, связано чувство смерти. Лишь зимой, в лютый голод и стужу, они приближаются к деревням, к подводам и нападают на скот, и то, если человек уснет, зазеваётся. Егор и другой мужик разводят около избушки костер, а малый всё бродит и жалуется:

– Телка-то! За телку-то тятенька 20 рублей смекал взять... И что мне, горемыке, делать!..

– Стыд и страх! – отвечает Егор – телку волкам скормил – какой же из тебя выйдет крестьянин?

Полукругом разложен огонь, вьются длинные, алые языки, похожие на клочья каких-то знамен, приятно пахнет смолой. Во тьму, как бабочки, несутся, нагоняя друг друга, искры с сухим треском. И теперь, если внимательно всмотреться в лес, то тут, то там вспыхивают в отблеске костра две-три пары углей – волчьи глаза. Они тут, они голодны и ждут – не удастся ли урвать что-нибудь. Лошади храпят, дрожат всем телом. Пока мы стоим, подходят другие подводы, распрягают коней, парень всем рассказывает про свою беду, и над ним смеются.

В избушке тускло горит лучина, чадит, пахнет копотью, жарко натоплена каменка. Егор устраивает мне какое-то лежанье в углу. От усталости я едва стою на ногах и, не раздеваясь, падаю, но сон не приходит. А народ всё прибывает. Вокруг стола, на котором горит лучина, сидят человек шесть, один из них рассказывает. Прямо передо мной в тусклом свете – глупое лицо с раскрытыми, толстыми губами – это парень, проворонивший телку.

– Ай, не надо мне ни золота, ни серебра, – тянет певуче голос. – Дитей у меня нетути – дай-ка ты мне, Чарь-Осударь, эфтого добра молодца, а будет он у меня заместо сына. Чарю делать неча, надо слово свое держать. Хорошо, живет добрый молодец у хрестьянина долго ли, коротко ли, – хрестьянин ему не налюбуется, не накруасуется – на старости лет Бог помогу дал...

Голос у рассказчика довольный, гибкий, мерный – так передавали, вероятно, былины в гомеровские времена.

– А кто таков будешь, добрый молодец? – спрашивает хрестьянин. – А я – отвечает – буду Чаревич Иван...

Поразительно, как было вплетено в народную жизнь, неразделимо связано с нею это слово, это понятие: царь, и как легко и скоро тот же самый народ стал цареубийцей! Прислушиваясь к сказке, к мерному голосу, к сухому шороху тараканов на стене, я лежал с закрытыми глазами, не в силах пошевелиться от истомы, и всё считал в уме: долго ли оставалось еще до дому ехать? Оставалось еще четыре дня и четыре ночи. И это казалось непреодолимой вечностью.

VI

На шестые сутки пути до дому осталось тридцать верст. В полдень мы приехали в деревню и остановились кормить на постоялом дворе. По дороге я незаметно заснул под утекающий свист колеи под полозьями, спал, бредя о близком доме, и сердце у меня радостно проваливалось куда-то вглубь. Я проснулся, когда Егор, откинув полог кибитки, весело закричал внутрь:

– Вставай, учоной, Турасово! Бог даст, покормим последний раз – к утру дома будем.

Турасово! До сих пор, все шесть дней, названия деревень были мне чужды, я никогда о них не слыхал, а Турасово – это было уж что-то совсем близкое и родное. Летом, во время страды, у нас часто работали турасовские девки и парни: отец ездил туда постоянно верхом; слово это просто стояло в моих ушах. Я отогнул медвежью шкуру, обшитую по верху синим сукном, и полез из кибитки наружу. Но от сна тело всё одеревянело, я едва мог шевелиться в моем дорожном тулупчике, и Егор, в конце концов, вытащил меня из саней и поставил на укатанную дорогу. В глаза мне ударил такой острый, ошеломляющий блеск от солнца и от снега, что я опустил веки и пошатнулся на ногах.

– Притомился, боженьный, – сказал ласково Егор, очень часто употреблявший это слово – вот, говорю, Бог даст, покормим коней – вечером в путь-дорогу, а к утру дома будем – так-то!

Всё еще неуверенно держась на дрожащих ногах, я открыл глаза и осмотрелся. Кругом все кипело в ослепительно белом блеске. Сани наши стояли по середине укатанной дороги с двумя желтыми, глянцевыми желобами от полозьев; от мохнатых лошадей валил густой пар, опустив голову, они поводили ушами и отхрапывались. Егор зашел за возок и, отвязав мешок с провизией, снес его к избе; потом он отвел лошадей под сарай и пошел принести воды: из дому выскочил малый и весело закричал:

– Не давай сразу воды-то – зайдутся!

– Ай, какой умный, ответил так же весело Егор. – Ученого учить, брат, только делу портить. Поди, достань сена!

– А может, скажешь, овса? – переспросил парень, скаля зубы.

– Неси овса, коли можешь поставить, – ответил солидно Егор и пошел дальше, не глядя на парня.

«Так вот оно какое, это Турасово!» – думал я, глядя на два ряда бревенчатых изб с двускатными крышами под пухлым ковром снега. Невдалеке от нас, в сторону от дороги, стоял сруб колодца, весь обросший ледяной корой, с тяжелой, деревянной бадьей, тоже сплошь обледенелой, на уклочине. К колодцу вели зеленые ледяные потоки, и всё вокруг него было залито водой и тоже обледенело. Теперь к нему шел Егор с ведром в руках. Он одет в бурый овчинный полушубок, подпоясанный цветным кушаком, на ногах у него расписные валенки, а на голове островерхая меховая шапка, как рисуют ее у Ивана Грозного или у Пугачева. И розвальни наши под серой кибиткой, и деревянные дома кругом с резными оконцами, всё это было какое-то старинное, пугачевское, и мне невольно вспомнилась «Капитанская дочка» Пушкина, которую мы только что читали в гимназии на уроках словесности. Там она не производила на меня никакого впечатления, там разбирали мы прямые и вводные предложения и периоды и еще какие-то другие обороты речи, а здесь, вдруг, я почувствовал явственно тот же самый мир, ту Россию, стоявшую уже столетия; я видел ясно, как ехал по степи, по снегу, Гринев с Евсеичем в такой

же кибитке, что и у нас. Деревня лежала на берегу реки, другого берега совсем не было видно – передо мной простиралась, текла, кипя в остром блеске, белая бескрайность, а над этим зыбким белым блеском покоилось холодное, застывшее, иссиня-зеленое небо; и мы были словно замкнуты в этом беспредельном, безмолвном русском мире.

– Сомлел, боженный? – переспросил Егор, приближаясь с ведром. – Ступай, разомни ножки, а я об эту пору самовар схлопочу. Ты, может, щец похлебаешь? Хозяева, знать, варили, богатый дом, на проезжающих доходы большие имеют...

Я послушался и прошел на гору, и стал там, зачарованный этим ледяным миром, с каким-то жутким счастьем, ощущая свою принадлежность к нему и свою безнадежную в нем потерянность и малость. Мне пришло вдруг в голову, что нигде кругом не было видно церкви Это так поразило меня, что я даже испугался – до того показалась потерянной, и сиротливой, и забытой в миру эта деревня. Да как же они без церкви?.. Скоро Рождество, – куда же они утром к службе пойдут, как же это у них даже колокольного звона не бывает?.. И с чувством недоумения и глубокой жалости к этим домам я пошел назад к постоялому двору.

Обитая соломой дверь снаружи обтянута серой дерюгой, в избе, справа от входа, покоится огромная русская печь с полатями, вдоль стен бегут массивные, низкие, деревянные лавки, в переднем углу под иконами – огромный тесовый стол. Потемневшие от времени, растрескавшиеся, глянцевитые стены не обиты ничем, между балками, в пазах, лежит седой мох. Всё это я сразу разглядел, все это было в любой крестьянской избе на севере, и меня опять поразила нерушимость и стойкость жизни здесь, – в городе каждый дом был иной, а комнаты меняли свой облик даже ежемесячно.

В избе тепло, пахнет свежим хлебом и щами, Егор уже хлопочет около самовара, доставая наши дорожные продукты: ветчину, яйца, домашнюю колбасу.

– Ах, грех, грех, – шепчет он беспрестанно, – в рождественский пост мясо принимаем – да что взять, дело дорожное, в гостях, в дороге и архиереи мясное дозволяют.

– Сними тулупчик, – поворачивается он ко мне, – да пройдишь в горницу, хозяйка сейчас тебе щец нальет.

Хозяин двора, высокий, рыжий мужик с лоснящимся лицом, а хозяйка – молодая, беременная баба с чудовищно вывороченным животом, с совершенно белыми губами. Кроме них, в избе целая куча ребятишек. Они все смотрят на меня, открыв рот, как галчата, и в другое время я ощутил бы, несомненно, гордость, сняв тулуп и оставшись в новенькой, серой гимназической шинели с петлицами, со светлыми пуговицами, но сейчас ничто не щекотало мое самолюбие; была только усталость и желание скорее попасть домой. И, пройдя в горницу, я долго стоял в одиночестве у окна, глядя на пурпурно рдеющий край неба, на розовато мерцающий снег, на широкие переливы дальней зари – было почему-то грустно и сиротливо на душе от этого вечернего покойного света и этого огромного мира, и в то же время радостно вздрагивало сердце при мысли – и не верилось, – что завтра я буду дома!.. Вот уже второй год я учился в городе, в гимназии, вдали от семьи, за 500 верст от дому, а первые детские годы, уже навсегда ушедшие, всё еще владели мною; я всё еще надеялся на какое-то возвращение вспять, к тем тихим дням, когда я жил дома с семьей, когда весь мир был прост и ясен и не пугал своей величиной, и я не стоял один перед ним... Чтобы не беспокоить Егора, я поел «щец» и ветчины и выпил чаю с баранкой, хотя мне ничего не хотелось; Егор же сидел в избе с хозяевами и рассказывал о большом городе, откуда мы ехали, о моих родителях и об их богатстве, и врал при том самым невероятным образом, и с видимым удовольствием, как будто те многие тысячи рублей «капиталу», как он выражался, принадлежали ему самому.

– Да чаго ж ему учиться при таком капитале? – удивлялся хозяин. – При деньгах чаго учиться – деньги сами приведут и научат...

– Без ученья нонче с капиталом нельзя, – ответил убежденно Егор. Без ученья теперь с капиталом погибель. Знамо, не сладко – он понизил голос – с таких-то лет по чужим людям!.. Малый скучает по дому, вижу, – не ест, не пьет.

– А чаму же его учат? – спросил насмешливо хозяин.

– А учат его звезды считать. Хочет знать, сколько земле и небу стоять...

Егор опять приготовился рассказывать свои сказки о моем мифическом учении, как это он делал на всех постоянных дворах, но хозяйка вдруг шумно охнула и заговорила:

– Вот бедный – ума решится! У нас так-то вот один мужик всё на звезды смотрел, да Библию читал – а там и совсем ума решился, достал купоросу и ночью на угоре отравился...

И я невольно представил себе этого мужика – как он выходил об эту, уже темнеющую пору на угор и стоял там один, глядя на неизменно льющие свой свет звезды, в эту безответную, сияющую даль, не в силах постичь ее, пока она не увлекла его в свою бездну...

А стрелки на стенных часах с медной гирей, казалось, не двигались, и я уже пересчитал все цветы на обоях и изучил все фотографии на стенах; изображали они бравых, усатых солдат, видно братьев хозяина, с медалями на выпяченной груди.

– Егор, когда же ехать? – не вытерпел я наконец.

– А жди, ишь, нетерплюга. Надо лошадям отдохнуть. Вот под вечер поедем.

– Под вечер, знать, пурга застанет – отозвался хозяин, глядя через окно, – ишь, разлило – точно кровью помазало, – он указал на багровый запад. – Выходил на двор – метет. До вас тут проезжал Кирила с дохтурской дочкой – тоже на святки едет, говорил, надо поспевать до дому засветло... Покормил, званья, один час, и дальше поехал...

Эти слова обожгли мое сердце. «Дохтурская дочка» была, разумеется, Ася, моя первая любовь, как я думал тогда. Их дом стоял верстах в четырех от нас, и она возвращалась теперь из уездного города, где училась в женской прогимназии. При мысли, что я мог застать ее здесь и ехать до дому вместе, у меня захватывало дыхание и, не в силах сидеть, я вскакивал и подбегал к окну, с какой-то странной надеждой. Еще можно их, вероятно, нагнать, если не медля выехать – приходило мне в голову – и я порывался бежать к Егору, торопить его запрягать, но сдерживал себя из стыда, что он догадается о моих мыслях. С тоской слушал я, стоя у окна, его бесконечную болтовню в соседней комнате. Наконец, не выдержав, сказал робко.

– Егор, надо засветло ехать, а то, правда, может метель пойдет. – Мне хотелось сказать «пурга», как говорили мужики, но почему-то я не решился.

– И, какая там метеля! – засмеялся Егор. – Езды-то рукой подать! Лесок минем, а там, через реку, смотришь, и дома.

– Вот на реке-то она и захватит, – отозвался хозяин.

Егор махнул недовольно рукой, однако, всё же поднялся и пошел запрягать. В ту же минуту я надел шинель, взял на руку тулупчик и вышел на двор. Лицо мое горело. Я нетерпеливо глядел, как Егор выводил и ставил лошадей, и запрягал, ворча на меня: «Ишь, взяло – вынь да положь, покормить коней не дал». Я знал, что если его торопить, то он будет еще дольше возиться, и ничего не отвечал. Уже смеркалось... На западе, над рекой, над дальней, чуть темнеющей каймой леса, рдело небо, походившее на пурпурную мантию, выше стояли прозрачные, словно фарфоровые облака с голубыми жилками неба, а сзади, за деревней, мрачно чернел лес и оттуда медленно поднималась туча, как спина огромного, темного зверя. В мире были такая тишь и холод, что мне чудилось, будто я слышал, как с сухим треском вспыхивали и дрожали звезды. Егор, к моей досаде, ушел зачем-то назад в избу, а я меж тем отогнул полог кибитки, поправил сено, положил внутрь тулупчик и залез в сани. Почему-то казалось – и сердце билось, билось! – что я непременно сегодня увижу Асю, и мне хотелось предстать перед нею не в тулупчике, а в шинели: она делала меня – по моему мнению – неотразимым. Дабы Егор не заметил, что я в одной шинели, я запахнул полы тулупчика, натянул сверху шкуру и, опустив полог, откинулся на подушки, со сладким чувством близкого дома. И точно, Егор только бегло оглядел меня, откинув полог, привязал сзади мешок с провизией, всё еще ворча под нос, покричав что-то на лошадей, со скрипом сел в передок саней, и – мы поехали. И тотчас же опять охватило меня неотразимое, единственное очарование русской санной езды среди зимней ночи, среди безлюдья и тишины, прерываемой только хрустом снега и посапыванием лошадей, в кибитке, какую знали, вероятно, еще татары. Лежа на подушках, я прислушивался к скрипу полозьев, раскатывающихся в колее, к цоканью копыт и ровному бегу лошадей, обоняя запах сена, и по всему телу сладко, как вино, разливалась дрёма.

Когда мы выехали за деревню, разом стало холодней, сбоку налетел ветер, откинул шумно полог кибитки, и на мгновение я увидел зеленое, залитое лунным светом поле, голубые тени изгороди, бегущие по нем, снег, роящийся столбом, как дым, и вдали пышную, коралловую стену леса... А потом опять стало тише, теплее – мы въехали в лес. Сверху лился металлический, неподвижный свет, лес казался голубым, замороженным подводным миром. Приподнявшись на локте, я смотрел на блещущие вершины елей: всё было

бесстрастно, торжественно, мертво и радовало, что из деревни доносился лай собак; где-то вдаль, чуть слышно, выли волки. Потом глаза стали слипаться, и незаметно я заснул. Мерно трусили кони, иногда на раскатах сани скользили на сторону, я пробуждался на мгновение и вновь засыпал... Вероятно, заснул и Егор, его совсем не было слышно...

Во сне меня тревожил кошмар: снилось, что на меня навалился какой-то темный, тяжелый зверь, с криком и ужасом я старался выпростать свое тело и не мог. Вероятно, от этих усилий я и проснулся, и сразу не мог понять, где я находился. Было холодно. С правого боку на сани и на шкуру намело снега, на ногах тоже лежала серая, снежная глыба, – я едва мог пошевелить ими. А дальше ничего не было видно – ни Егора, ни лошадей. Вместо полога передо мною свистела и кружила серая мгла, сбоку рвал ветер, приподымая и кидая в сторону повозку, жалобно скрипели оглобли. «Пурга» – вдруг вспомнил я слова мужика. Лошадей не было видно, ни слышно – ехали мы или стояли?.. В лицо бил колючий снег. Напрягая все силы, я попытался выпростать ноги, но снег только обрушился мне на лицо, за воротник, и в отчаянии я закричал: «Егор!». – Голос мой едва заполнил кибитку, снаружи его, конечно, не было слышно. Впрочем, Егора не было в санях. Страх отхватил меня: а вдруг лошади сорвались, убежали, Егор ушел их ловить, потерялся, и я один остался в этой пурге, где-то в поле или на реке, без дороги. И опять я стал тянуть ноги и, наконец, выпростал их и сел. Мы, действительно, стояли. Впереди я различал неподвижные, крупы лошадей, сплошь облепленные снегом. А Егора не было. Уж не замерз ли он по дороге?.. И не выпал ли из саней?.. Все это пронеслось разом в мозгу, и я уж собирался лезть наружу, как вдруг кто-то дотронулся до кибитки, словно заскреб по ней когтями. Сначала скребло сзади, а потом перешло на левый, подветренный бок, и, весь цепенея, я ожидал чего-то ужасного. Что-то медвежье, огромное, всё запущенное снегом предстало передо мною, с почти не бьющимся сердцем я ждал, что будет дальше, как вдруг эта снежная глыба заговорила голосом Егора:

– Экое дело, экое дело, спаси Христос, пресвятая Богородица... Не замерз бы малец. – И он стал ощупывать меня; вместо лица у него был какой-то белый куст.

– Егор, – позвал я громко, – почему мы стоим, где ты был?

– Дорогу ходил искать, плохо, парень, дело, – отозвался он, – с пути сбились. До берега, должно, рукой подать, а цельный час кружим, не можем выбраться, кони совсем пристали.

Слова его меня, однако, нисколько не испугали; мне казалось даже просто невероятным, что мы могли заблудиться именно теперь, когда до дому оставалось всего лишь несколько часов.

– Должно скоро светать начнет, – продолжал Егор, – тогда, Бог даст, разберемся. Ты не зазяб? – спросил он. Но по голосу его я как-то чувствовал, что до свету еще далеко; меж тем у меня уже начали стыть колени, по спине пробежал мороз, и я раскаивался теперь, что не надел сразу тулупчика. Укутавшись плотнее, я опять лег, покрывшись медвежьей шкурой, а Егор всё ходил около лошадей; ветер доносил до меня иногда его бормотанье. Глаза уже обтерпелись в темноте.

Сбоку у саней росла куча снега, увеличиваясь явно, передок занесло и лошадей не стало видно. В глубь кибитки, ко мне, закидывало снег, и откуда-то сзади, в спину, остро и тонко пробивался ветер, несмотря ни на сено, ни на медвежью шубу. Впереди же кипела бешеная белая канонада, белый каскад, обрывки полога на кибитке громко и беспрестанно бились. А гора сбоку всё росла и росла. Нас занесет, похоронит под снегом! – пришло мне в голову, и я вспомнил вдруг, как три года тому назад, в приготовительном классе, мы читали рассказ из Аксакова о мужике Арефье, несколько дней пролежавшем под снегом. От мысли, что это может случиться с нами, я совсем похолодел: и как раз теперь, перед Рождеством, в нескольких часах от родного дома!.. Да что же он не едет? – подумал я об Егоре, – и как он не мерзнет в своем армяке? И в ту же минуту, как будто отвечая на мои мысли, появился Егор и глухо закричал:

– Ехать надо, тута совсем занесет!

– Отчисти хоть снег, тяжело ногам.

– А терпи, терпи, спаси Христос, под снежком теплее, так отморозишь ножки. – Голос его был сухой, сам он весь дрожал.

Забежав на подветренную сторону и взобравшись на передок саней, он зацокал языком и задергал вожжами. Первое время лошади не трогались с места – очевидно они спали – а потом вдруг взяли и побрели, поводя головами, в сторону совсем обратную от нашего дома, как мне казалось. Ветер бил теперь прямо в лицо, поспешно я натянул медвежью шкуру на голову. Но как же Егор? Не замерзнет?.. И я снова открыл лицо. Ветер дул уже сбоку. Потом он опять ударил в лицо, снова подул сбоку, и так крутили мы долго – час, два, а может, и

больше, – кругом стоял свист и тот же снежный каскад, и мне казалось, что иногда в этой серой мгле вспыхивали чьи-то глаза. Волки? – думал я с ужасом и не хотел верить. Я то впадал в забытие, то приходил в себя от холода, и тщетно смотрел вперед, напрягаясь увидеть берег. А Егор сидел неподвижно, весь занесенный снегом, подобный мумии... Кони иногда останавливались и опять шли, и опять останавливались... А ведь мы замерзнем – вдруг ясно пришло мне в голову, – если Егор уже не замерз. Его надо было бы толкнуть, разбудить, но у меня не хватало ни сил, ни даже воли пошевелиться. Невыразимо приятное чувство тепла, дремоты, бродило во мне, и первое время я пугался, ибо знал из рассказов, что именно так замерзают люди... «Господи, молился я, только не сейчас, перед домом, перед Рождеством!.. Пусть я приеду, повидаясь со всеми, еще поживу одни только Святки... Пусть, лучше на обратном пути замерзну», – говорил я в темноту и в то же время чувствовал, что не верю своим словам и словно хочу кого-то обмануть: только бы сейчас не замерзнуть, а потом, потом мы еще посмотрим... И я стыдился, и боялся этой своей нечестности. В ушах стоял какой-то далекий, глухой звон, и в снежной мгле мне мерещилось миганье огней. Неужели я всё-таки замерзну, – подумал я. А огни всё мигали, и звучал колокол. И вдруг я понял, что это на самом деле так происходило: невдалеке от нас, во мгле, действительно светился огонь и звенел колокольчик.

– Егор! – закричал я изо всех сил, – Егор! – С трудом выпростав свои ноги, я вылез наружу и стал его толкать, но он долго не подавал никаких признаков жизни.

– Егор! – звал я в испуге, – мы приехали!

И в это время громко заржал наш коренник, и сразу же где-то раздалось ответное слабое ржанье. Лошади опять тронули. Егор шумно вздохнул и соскочил с саней.

– Эй, кто крещеный? – закричал он не своим голосом.

Скоро мы подъехали к какой-то снежной горе. От нее отделился великан, весь белый. В руке он нес фонарь и махал им.

– Эй, кто крещеный? – закричал Егор снова.

– Пучугские, – отвечала фигура, – с пути сбились. А ты не Егор будешь, не Воронихинский работник?

– Я самый, – отвечал Егор. – Тоже грех, скажи на милость, перед самым домом в пургу попали. Кого везешь?

– Дохтурскую дочку. Попали, что ни есть, в самый раз, – фигура выругалась. – Конь пристал... не идет, замерзает тут...

Услышав, что Ася была в десяти шагах от нас, вот в том возке, я нисколько не удивился, точно так и должно было быть. Но как следовало мне поступить?.. Нужно было как-то взять Асю под защиту, спасти ее от пурги, от волков, от опасности, предстать перед нею защитником; и я жаждал этого и всё-таки не мог заставить себя встать.

– Распрягать тебе надо, – раздался сбоку решительный голос Егора.

– А как же я воз покину, денег стоит.

– А он те поблагодарит, коли дочку заморозишь. Дурная голова! Поутру стихнет, найдешь воз, что ему здесь сделается.

Они ушли в темноту и скоро опять вернулись, ведя лошадь под уздцы. Вторую пристяжную хотят впрячь, – сообразил я, – а как же останется воз? В самом деле, ведь там же Ася?

– Егор, Егор! – с ужасом закричал я и поспешно стал выбираться из воза.

– Чего ты кричишь? – раздался сбоку, совсем рядом, его голос. Ляжи, сейчас поедem... Вот, только компаньонку к тебе переведу. Теплее будет ехать. Ляжи, знай!

В темноте, замирая сердцем, я лежал, ожидая ее. Но что было лучше: встать или остаться так лежать? В конце концов я решил притвориться, будто совсем не знаю об ее присутствии, и больше всего заботился о том, чтобы она не подумала, что я боялся метели, – нужно было показаться холодным, спокойным. Я приподнялся на локоть и остался так, полулежа, как будто я о чем-то думал. Мне не пришло в голову, что среди ночи, среди мглы она совсем не могла заметить моей геройской позы. Скоро Егор появился с ношей на руках.

– Куда вы меня несете? – различил я трепетный, дорогой мне голос, спрашивающий беспрестанно, со слезами: – Почему, куда вы меня несете?!

– А вот, с компаньоном веселее будет ехать, барышня. Не сомневайтесь, к утру домой преставим.

Ася барахталась рядом, видимо не узнавая меня.

– Успокойтесь! – сказал я, стараясь говорить низким голосом, – я с вами.

Она приподнялась, насколько могла, в темноте я различил блистанье глаз, уловил ее дыханье, у меня зажало от радости сердце, и вдруг услышал ее голос, как ангельскую музыку:

– Ах, это вы, Андрюша, ах, как я рада!.. Я так боюсь, мы заблудились, мы сбились с пути... Я так боюсь! – и она придвинулась ближе ко мне.

– Не бойтесь ничего, – отвечал я опять, весь загораясь геройством и добавляя те же слова: – Я с вами!

– Правда, вы думаете, Андрюша? – спрашивала она беспрерывно и ветер рвал ее слова, – какой ветер! Вы думаете, мы доедем, буря пройдет?..

– Не бойтесь ничего. У меня хороший возница, Егор никогда не собьется с пути, – и я взял ее за рук у. Мне нравилось, что я сказал: «Егор, мой возница», – выходило совсем по взрослому и придавало мне веса.

– Ах, Андрюша, скажите ему, чтоб он принес сюда мои вещи, там все мои подарки к Рождеству...

– Егор, Егор! Доставь вещи барышни сюда – слышишь! – Я старался говорить так, как говорил мой отец с кучерами. Но никто мне не отзывался, в темноте никого не было видно; между кибиткой и лошадьми стояла белая сетка. Я сейчас вернусь... – сказал я и начал уже вылезать из кибитки, как Егор неожиданно появился.

– В задке вещи, что кричишь попусту, – объявил он довольно грубо, взбираясь на сани; с другой стороны сел Пучугский мужик.

Мы вновь тронулись. И опять широко, разом, захватывая всю кибитку и обжигая лицо, рванул ветер, кинул снег под полог. Вокруг нас стоял вой, выл ветер, катясь по снегу, по реке, но чудилось, что это какие-то злобные, живые, костлявые существа, несущиеся стеной по ветру с распростертыми руками.

– Что это? – спросила Ася, со страхом придвигаясь ко мне, – вам не страшно, Андрюша?

– Ах, чего же бояться! – отвечал я и, действительно, мне ничто в мире не было страшно. – Кони добрые, вынесут.

И тут снова налетел порыв ветра, до того сильный, что кибитку подбросило в воздух и едва не опрокинуло: я видел, как вывалился из сиденья Пучугский мужик. И вновь завyli эти серые существа с распростертыми руками, и среди мглы и воя гулко заржала лошадь, закричал Егор: «Держи, держи, оборвет пристяжная». Мужик кинулся куда-то бежать.

– Боюсь! – прошептала Ася тихо, совсем придвинувшись ко мне под тулупчик. В темноте я видел ее блестящие глаза, прядь волос, выбившуюся на лоб, полураскрытый рот. И, обмирая сердцем и ужасаясь тому, что я делаю, я просунул руку под ее шубку и, прижимая Асю к себе, коснулся губами ее холодных губ. Ася ничего не отвечала, только теснее прижалась ко мне. Она любит меня, я не ошибался значит, – думал я блаженно. Я уже не слышал ни ветра, ни воя, не ощущал ни холода, ни снега, – весь мир мне заполнило это существо, прижавшееся ко мне, эта голова в меховой шапочке, полураскрытые губы... Ася уснула скоро, а я всё смотрел на нее, всё ловил ее дыхание, почему то страшно меня умилавшее. Рука моя заныла от тяжести, но я не смел, не хотел ее вытащить... Потом я и сам заснул.

А когда проснулся, было уже тихо. Гулко похрустывал снег под ногами лошадей, под полозьями, в кибитку лился зеленый, холодный свет – и я еще ничего не успел толком сообразить, как мы остановились. С сиденья соскочили, Егор отдернул полог и на зеленом, светящемся небе я увидел снежные очертания сада, вдали, меж деревьев, дом с красными окнами, который я узнал бы из тысячи, кружево дыма над крышей...

– Приехали! – закричал Егор.

Ася еще спала. Не желая ее будить, я потянул руку. Ася проснулась на мгновение, посмотрела на меня, вероятно, не узнавая, и я не вытерпел и опять коснулся губами ее холодных щек.

– Ася, я вас люблю, – сказал я тихо, – вы знаете это?

– Да, – отвечала она, – да.

Это было мое первое признание в любви – и, вероятно, самое бескорыстное.

VII

Первой встретила меня наша няня Ивушка. Когда, вбежав на крыльцо, я распахнул дверь в коридор, задыхаясь от счастья, Ивушка несла кипящий самовар из кухни в столовую.

– Ивушка! Урра! – закричал я изо всех сил. Самовар едва не выпал из рук старухи – так испугал ее мой неожиданный окрик. Она опустила самовар на пол и сощурила свои слепые глаза, но я уже висел на ее шее, прыгал вокруг по коридору.

– Ах, Господи! Мать пресвятая Богородица! – промолвила, наконец, Ивушка, обороняясь: – Да ты, нетто, очумел, постой ты, Христа ради! – А лицо ее, все в мелких морщинах, уже смеется, и в глазах прыгают зайчики. – Из-за тебя, поганца, чуть не обварилась, имя Божье всуе поминаю. Что ты, ровно жеребец, скачешь!.. Пройди степенно, поздоровайся с родителями...

В столовой был уже накрыт утренний чай, но еще никто не вышел. Мать моя еще спала. Ивушка сказала, чтоб я ее не тревожил, и это показалось мне странным: мать вставала всегда очень рано. И отец тоже еще не выходил. Что всё это значило?.. От Ивушки я узнал далее, что за день до меня приехала из уездного города, где она училась, моя старшая сестра. Мне было обидно, что мой приезд прошел столь незаметно, как будто меня даже и не ждали. И что мне вообще

было делать: ждать ли здесь выхода отца или идти к брату Мише в нашу комнату? И такая досада, что приходилось снять новую шинель – никто меня в ней и не видел, а главное было первое впечатление. Проходя в коридоре мимо зеркала, я замедлил шаг и скосил на него глаза: остановиться к прямо посмотреть на свое отображение я не решился: мне всегда казалось стыдным смотреться в зеркало.

– Шин ел я-то, шинеля-то! – Ивушка всплеснула руками и застыла предо мной: – Прямо генеральская. Пуговицы блестят! Аль тебя уж в чин вывели, – старшина на поклон должен придти?

В ее глазах, в морщинистом, высохшем, как пергамент, лице было явное лукавство, но слова ее мне чрезвычайно льстили.

– Раздевайся скорее – в дороге-то, верно, умаялся. Выпьешь чайку, – и отдохнешь, – продолжала Ивушка скороговоркой, – завтра рано к службе. Со звездой-то пойдешь?.. Ванька Бандура всё прибегал, спрашивал – когда будешь? – Она сняла с меня шинель и говорила, не переставая. – Вот, батенька выйдет, попьешь вместиах чайку. Оно бы и грех – чай-то распивать. Старики учили: сей день ни единой крупинки нельзя в рот принимать, доколь первая звезда на небо не вступит. Звезда сия привела в ясли к Господу Иисусу новорожденному трех святых волхвов... «Волхвы же со звездю путешествуют» – сам знаешь, в церкви поют. В старое время свято блюли обычай, – а теперь всё переменилось. Грех один!.. А тебе, с дороги, дозволяется. С дороги можно... А я вот уж попощусь до звезды ради души моей грешной. Помирать пора...

В этот момент появился отец. Он был в валенках, в руке нес башлык, – значит, собирался куда-то ехать. Я стоял около стола и смотрел молча, как он приближался ко мне; надо было бы подбежать к нему, вообще что-то сделать, сказать, а на меня нашло странное состояние, охватывавшее меня часто: я знал, что надо проявить какое-нибудь чувство, и я имел его и всё-таки не мог себя к тому заставить. Многие считали меня за то неблагодарным, я сам страдал от этого состояния, ибо, вероятно, обижал людей, хорошо ко мне относившихся, но оцепеняющая, непонятная сила была всегда сильнее меня. Ивушка после выговаривала мне: «Что ты, как истукан, встал, к папеньке не подбежал. Ровно чурбан бессловесный». Отец подошел ко мне, взял за плечи, посмотрел в глаза – мне показалось, что он думал в это время о чем-то совсем ином – и поцеловал меня в лоб, защекотав бороною. От усов его и от головы пахло помадой.

– А, приехал, ну, каково доехал? – сказал он, садясь за стол и наливая себе стакан чаю. – Ты его уже поила, Гавриловна? – обратился он к няне, – нет, – ну, вот тебе чашка, – пей и рассказывай.

– А нас в дороге чуть волки не съели, и мы чуть не заблудились в пурге вчера.

– Ну, волки вас съесть не могли, – подавились бы, а метель, действительно, была крепкая. – Лицо его приняло озабоченное выражение. – Что, Петруха не вернулся? – спросил он Ивушку.

Та молча покачала головой.

– Говорил вчера дураку – не езд, выжди, пока метель пройдет, не послушался, дурная голова. Ну, надо ехать, – сказал он, наскоро выпивая второй стакан и закусывая баранкой. – Уехал вчера работник, Петруха, за сеном на луг – пояснил он мне, – с тех пор не вернулся, надо проведать... За ночь-то улеглось, – и, махнув мне рукой, он вышел сильной, кошачьей походкой из комнаты. Через секунду мелькнули лошадь, сани, фигура отца в медвежьем тулупе. – «Воронихин поехал догонять ветер».

Мне очень нравился мой отец, но я никогда не мог с ним сойтись, хотя хотел этого страстно: он никого не допускал очень близко до себя – разве только мужиков; род же свой выводил, однако, от каких-то опальных «двинских бояр», чем очень гордился. Мужикам он подражал во всем: никогда почти не носил брюки на выпуск, а всегда забирал в легкие, шевровые сапоги, не признавал галстука, надевал только русскую рубашку, даже под пиджаком, так что, когда он приезжал в город, мне было за него даже неловко, не брил усов и бороды, волосы стриг в скобку, косил сено, рубил лес, – его считали толстовцем. Но он не был толстовцем – для этого в нем текла слишком горячая кровь: он любил вино, лошадей, страстно менял их с цыганами, любил дикую езду, пляску, песни. «У Воронихина хмель и в жилах бродит», – говорили про него мужики. Он считал, что исповедывать какую-нибудь веру – будь это во Христа или в Толстовское учение, или в крестьянский быт – и жить по-иному, было самым большим грехом и соблазном. Поэтому он старался жить всегда так, как верил, и по тому, как он жил, можно было сказать, во что он верил.

– Ивушка, а почему у нас так тихо? – спросил я. В доме стояла какая-то необыкновенная тишина, пугавшая меня.

– А вот, молчи и пей чай, а я тебя потом к матушке сведу, – уклончиво отозвалась она, и я уже знал, что, вероятно, что-то случилось...

– Ивушка, скажи, что случилось?

– А молчи, знай – и вдруг понизив голос, – а Бог тебе сестрицу послал – третьего дня окрестили – Татьяне мученице. Имя то столь некрасивое, мужицкое дали. То ли дело, коли бы Валентиной, али бы Тамарой – как у доктора дочка, а то Татьяна, Танька – самое, что ни на есть, мужицкое имя... У нас, в деревне, Танек-то не перечесть...

«Бог тебе сестрицу дал...». Я вспомнил удивление и испуг, охватившие меня, когда, года четыре тому назад, меня ввели в комнату матери и рядом с нею, на подушке, я увидел красное, мокрое, истошно ревущее, непрестанно дергающее руками и ногами существо. Мне объявили тогда, что это моя новая сестрица, и я никак не мог себе представить, чтобы из этих кривых ног и рук и морщинистого, подслеповатого лица вышла бы такая же сестра, как моя старшая сестра Мария, стоявшая тут же рядом в коричневом платье с белым воротничком, в черном передничке, с длинной косой. Я потом ее сам спросил о моих сомнениях, а она только сжала презрительно губы и сказала, что я ничего не понимаю. И, действительно, из этого красного существа, как-то неожиданно и незаметно, выросла моя другая сестра, Саша, и теперь я любил ее, пожалуй, больше всех. Тогда я недоумевал, с испуганным изумлением, – как это могло случиться, и откуда могла появиться новая сестра, которой раньше у нас не было, а сейчас я уже не испугался и не изумился: была только какая-то робость, может быть, даже смущение, когда Ивушка ввела меня к матери.

– Не шуми у матери, веди себя тихонечко, слышишь? – сказала Ивушка перед дверью.

В комнате было полутемно, слабо горела лампада перед образами, пахло лекарством – от этого у меня всегда сразу становилось тревожно на душе. И сейчас, увидев мать в постели, с измученным лицом, с огромными глазами, и ее протянутые ко мне бледные руки с ниспадающими широкими рукавами белой рубашки, я страшно испугался и едва удержал слезы. Мне показалось, что мать умирает. А у нее на лице – слабая улыбка, и, поцеловав меня в лоб, она кладет мою голову к себе на плечо, и, глядя мои волосы, – этот жест я особенно любил – говорит:

– Ах, как я рада, что ты приехал, милый Андрюша. Я всё волновалась, что тебя не отпустят так рано из гимназии.

Она спрашивает меня о моей жизни и, лежа головой на ее плече, я рассказываю бессвязно, жалуясь на Амалию, на инспектора и на Шереметьевского, гимназиста из третьего класса, который дразнит меня громко при всех «вороной» за мою фамилию, и задирает меня непрерывно; я рассказываю о волках и пурге, а она всё гладит мне волосы и говорит какие-то нежные отдельные слова, действующие успокоительно, как молитва... И теперь еще, сквозь гущу лет, я слышу явственно ее дорогой голос, чую эту руку на волосах, вижу ее недопитую чашку чая, ее рабочий деревянный ящичек с нитками и иголками на шкафу, ее бесчисленные кулечки и сверточки, над которыми так смеялся отец, – какая невероятная даль отделяет меня от тех ясных, блаженных времен!.. И всё это было на самом деле, – были эта чашка, этот ящичек, который всегда стоял на одном месте, – это не сон, как теперь кажется иногда, – но как же случилось, что всё это исчезло незаметно и невозвратно, – вот, что самое ужасное!..

Среди тишины я различаю вдруг чье-то движение, вздох, и потом на всю комнату раздается плач. Откинув руку, мать начинает легко качать постель рядом с собою, тихо шепчет что-то, и тут я опять вижу спеленутое, маленькое тело, морщинистое, мокрое лицо, беззубый рот, по-кошачьи плачущий.

– Это твоя новая сестра, – говорит мне мать, – Таня – посмотри на нее.

И я смотрю, и о чем то смутно уже знаю и догадываюсь – я видал уже женщин с огромными животами, вот как в Турасове, и мне неловко от этого, и я стараюсь думать о другом. И, как в прошлый раз, у меня к этому кричащему рту неприязнь, почти отвращение.

– Ступай милый, отдохни. Ивушка тебе постелит, – говорит мне мать, беря на руки спеленутое тельце, и я сам рад, что нужно идти.

В доме всё еще тихо, чуть прохладно, но уже затоплены всюду печи, шумно трещат дрова. Я прошел опять в столовую и остановился перед окном в сад. Сад был всё тот же старый, знакомый, сейчас весь пепельно-жемчужный, кружевной, а за ним где-то далеко пылало солнце, как огромный, красный глаз, совсем не излучая свет... Прямо за садом высится зеленый шатер нашей церкви, подальше шатер колокольни; купола и кресты, покрытые инеем, тускло мерцают. Во всем этом есть что-то вековое, старинное, из давно ушедших, будто татарских времен. И мне было почему-то грустно от неизменности этого внешнего мира, этой дали, как была она при отцах, дедах и прадедах, в то время, как мой мир менялся, то, что я больше всего любил, неотвратимо ускользало от меня; приходили новые лица, новые места, которых я совсем не хотел.

Вошла Ивушка с железным совком в руках, взять угли из печки.

– Поди, поспи, я тебе постелила в гостиной, – объявила она.

«Гостиной» у нас звалась комната по левому фасаду дома, где никто не жил, останавливались иногда проезжие. Раньше я спал с братом Мишей в одной комнате, на святках к нему перевели Сашу, а у старшей сестры была теперь отдельная комната. И опять я почувствовал, что я уже не по-прежнему, не навсегда дома, что я «проезжий», и было от этого очень горько: кто-то или что-то приходит и встает на наше прежнее место и вытесняет навсегда и непоправимо, и никогда ничто не идет вспять.

Это всё я почувствовал тогда, должно быть, впервые – было ли это предчувствие скорой катастрофы, или же переход в юность? – кто знает, но у меня холодно обмирало сердце, и впервые, вероятно, я понял, что жизнь есть одна сплошная утрата; и, чем лучше жизнь, чем дороже люди, тем горше будет утрата. Часто потом, позднее, из этой утраченной дали вдруг воскреснет остро на мгновение в памяти какой-нибудь день, непоказанное чувство, несказанное слово – несказанное в надежде или уверенности, что будет еще случай сказать его – увы, случай этот, большей частью, не представляется, и только память горькая точит упреком сердце.

Спать мне не хотелось, сестры мои и брат еще не вставали – что же мне было делать? Никто на меня не обращал внимания, не переживал, видимо, моего приезда, а я ждал совсем другого. В нерешительности я побрел на кухню. Пройдя сквозь темный коридор, по которому я всегда боялся ходить, физически ощущая чье-то присутствие, чьи-то руки, вытянутые за спиной, я ошупью нашел

обитую сукном дверь и вошел в кухню. Она полна чаду, запаха сдобного теста, горячего масла, жаркого – очевидно, в печи стояли окорока. Огромная русская печь раскалена до того, что, казалось, двигались ее бока; перед нею – лоснящаяся багровым лицом, с засученными рукавами, с лопатой в руках кухарка Настасья. А на столах вокруг – бесчисленные железные протвени, сковороды, груды теста в муке. Палашка – дочь кухарки – смазывает протвени птичьим пером, макая его в растопленное масло, а Настасья катает тесто, заворачивает пироги и, ловко подхватывая их на лопату, отправляет в печь. При виде меня обе останавливаются, Палашка краснеет, глупо смеется.

– К празднику приехал? Дома то, чай, лучше. При солнышке тепло, при матери добро – приветствует меня Настасья и, не дожидаясь ответа, достает горячий, постный бублик, которые она так мастерски делала, и протягивает мне.

– Вот, покушай, седни сочельник, постный день, к церкви сходишь утром разговеешься.

А на другой половине кухни, за ситцевой занавеской, сидят за столом, пьют чай Егор и Авдей, наш другой работник, ходивший за скотом. Он был уже стар, с узкой и реденькой, седой бородкой, необыкновенно кроткий и добрый. Носил он очки в оловянной оправе на веревочке, подымая их на лоб, когда не нуждался; ходил в домотканной длинной пестрядиной рубахе в красную клеточку, подпоясанный тонким поясом, летом – босой, а зимой – в валенках. Всё свое досужее время он сидел на кухне под образами и читал Библию, которую знал наизусть. В нем самом было что-то библейское.

– А, приехал, приехал, молодец! – вместо «ц» он выговаривал «ч». – Садись, чайку выпьешь с баранком, за компанию с Егор Ивановичем. Я-то не пью до звезды.

– Пустое дело, – говорит Егор, много раз бывавший в городе и считающий себя передовым человеком, – по науке-то совсем пустое дело – скажем, обычай старый: до звезды не пить, не есть. А на самом деле по науке выходит совсем иная. – И он смотрит на меня, вероятно, ища поддержки.

– Навык добро науке, – отзывается Авдей, выражающийся больше туманными афоризмами, – но звезда та есть смирения образ... Горе имеем сердча. Великий бо завтра праздник – родится Отроча младо, предвечный Бог...

Он смотрит на меня своими глубоко впавшими, для его лет необыкновенно чистыми глазами, и я невольно чувствую какой-то нездешний мир и свет, стоящие где-то за этими глазами.

– А за вами Ванька Бандура уж сколько раз прибегал, – вмешалась вдруг Палашка. – Спрашивал, пойдете ли со звездой с им, аль с кем другим?.. – Она вся покраснелась, расплзлась улыбкой, в глазах ее сверкает и лучится что-то мне необычайно приятное. – Он обещался зайти сднн...

Идти ли мне со звездой?.. Это так напоминало детство: рано, в утренние сумерки, из дома в дом, идти с нарядной, разноцветной звездой, с горящими свечами и петь церковные стихиры и святочные песни и собирать, что подадут. Это так весело! – Но в то же время мне казалось, что теперь это уж не соответствовало моему положению, и, в смущении, я не знал, что ответить.

Авдей пошел дать корм скоту. В старом, деревянном скотном дворе темно, тепло, кисло-вонюче пахнет навозом, с непривычки страшно сделать шаг. Но скоро я свыкаюсь с темнотой и, не смотря, уверенно, как прежде, иду по тесинам, брошенным на навоз. Звучно, неустанно жуют коровы, тяжело переворачивая влажную жвачку; переступая, хлюпают ногами. Лошади стоят дальше, за перегородкой: здесь светлее, суше. Больше всего меня интересует серая кобыла Пегуха: когда я уезжал, она была жеребая, и отец обещал, если принесет жеребёнка, отдать его мне для верховой езды. За три дня до моего приезда Пегуха принесла жеребёнка! Он лежал сейчас меж ее ног – тощий, несоразмерно длинноногий, с клочковатой мокрой шерстью. Завидев нас, Пегуха приподнялась на передние ноги, Авдей погладил ее по шее, и она тотчас же снова легла.

– Статный конь выйдет, – говорит Авдей, указывая на жеребёнка, – под седлом отлично пойдет.

Но мне вообще не верится, что из этого мохнатого, зализанного, неопрятного жеребёнка выйдет когда-нибудь настоящая лошадь.

– Помяни мое слово, – продолжает Авдей, – лошадь будет на загляденье. Первый сорт будет конь.

Авдей знал толк в лошадях, отец всегда доверялся его суждению, и потому слова его мне чрезвычайно приятны, хотя сомнение всё же не исчезает.

Когда мы возвращаемся в дом, в нем уже теплее, больше движения, света. Миша и Саша встали, сидят, пьют молоко в столовой. Они кажутся мне совсем маленькими на первый взгляд – ноги их не достают пола. Оба забыли, дичатся меня, не знают, что сказать, и смотрят удивленно друг на друга.

– А ты привез мне куклу? – спрашивает вдруг Саша, как будто вспомнив что-то.

– А мне кубики? – прерывает Миша.

– А кукла со спящими глазами?

И оба срываются со стульев и наперебой рассказывают мне, что у нас новая сестра – монашки приходили, принесли, что у Пегухи жеребчик, а Егор вырубил вчера большую елку, и стоит она пока на сеновале – меня и Машу ждали, чтоб украшать. Когда же ее принесут? Елка будет стоять вверху, в большой угловой, и мы все бежим туда через коридор по скрипучей старой лестнице – топот наших ног разносится по всему дому. Ивушка выскакивает из кухни, ковыляет за нами.

– Ивушка, Ивушка, когда же елку убирать? – Саша прыгает около няни, дергает ее за подол. Ивушка сердится.

– Оглашенные – мать нездорова, уйметесь ли вы, наконец!..

И весь этот день проходит немного сумбурно, в ожидании. Не во время подается обед, ни отец, ни мать за столом не показываются, но выходит Мария – старшая сестра. Она бледна и томна с дороги, и вообще сильно изменилась с тех пор, как я ее видел осенью: на плечах у нее накинута шаль, выпукло пробиваются груди сквозь платье – и я чувствую, что между нами легло еще большее расстояние, чем прежде. Впервые я сознаю, что сестра очень красива: у нее тонкое, продолговатое лицо, огромные, лучистые, карие глаза, сплошь обнесенные изогнутыми ресницами, мягкие русые косы, и когда она идет, то гнется вся, как лоза. Держит себя она совсем по-взрослому, за столом сидит на месте матери и делает нам замечания, что злит меня неимоверно, и я начинаю дерзить, но она только презрительно поводит головой, совсем не обращая внимания на мои грубости. Что она воображает! – еще больше раздражаюсь я и с

удовлетворением вспоминаю ночь, и кибитку, и мою «тайну» – в самом деле, что она заносится передо мной?

Если бы только можно было рассказать, вот бы она поразилась!.. И чтобы показать, что я не маленький, я не принимаю сначала никакого участия в украшении елки, хотя жажду этого. Егор уже внес ее в дом, в угловую, и всюду запахло хвоей, сразу стало Рождество! Лишь после просьб Ивушки я соглашаюсь приделать звезду на самом верху елки и то больше для того, чтобы показать мою ловкость: поставив табуретку на табуретку, я ловко взбираюсь наверх, и Ивушка охает от страха и изумления. На улице уже смеркается, далеко, за черным пустым садом, как огромная золотая гора, сияет солнце, и с него, с этой сияющей вершины, стекают огненные потоки... Я выбегаю на улицу, в прозрачно-сумеречный сад, в тишину вечера, – на небе зажигается, оживает звезда, дрожит, как капля. Первая звезда в Сочельник! Это за нею шли волхвы! Закинув голову, я долго смотрю ввысь, стараясь представить себе ту святую, такую же тихую ночь, и волхвов в длинных одеждах, с длинными бородами, с посохами в руках, шествующих за нею. И мысль, что это, может быть, действительно, та самая звезда наполняет душу радостной робостью...

У садовой калитки меня окликают: это Палашка.

– Вас Ваня Бандура на кухне дожидается, уж искала, искала по всему дому. – Она смотрит на меня лукаво, исподлобья, и мне приятно, что она зовет меня на «вы». Но как же мне показаться Бандуре – он, наверно, ждет коньков, – и малодушное желание уклониться от встречи овладевает мною. «Можно будет подарить ему мои собственные коньки – принимаю я решение – а самому в этом году не кататься».

Бандура сидит на лавке в кухне в ватном, дырявом пальто, баранья шапка на коленях. Он дичок, и за четыре месяца отвык от меня, а летом мы не расставались друг с другом.

– Я утром видел, как ехали, хотел сразу бежать, мамка остановила, говорит: дай отдохнуть с дороги-то, – начинает он. – Со звездой-то сей год пойдешь – сам будешь клеить, аль со мной?.. Картинок-то привез?

И я тотчас же решаю, что пойду со звездой, и, разведя клейстер, весь вечер мы, лежа на полу, наклеиваем картинки от конфет, цветные бумажки поверх

картона, натянутого на деревянную звезду, приделываем в середине, на палке, фонарь, пока Ивушка нас не разгоняет.

– Утренья в три часа ночи, коли пойдешь в церковь, пора спать ложиться. – Поди, простись с родителями.

В полутемноте своей комнаты мать крестит меня и целует в лоб, крестит и отец, сидящий рядом в кресле, и я иду, по привычке, в детскую, забывая, что сплю в гостиной. Ивушка укладывает на ночь Мишу и Сашу. Оба они уже раздеты, стоят на коленях на коврике перед кроватью; в углу, перед иконами, горит лампадка, мигает свет.

– Скажи молитву Ангелу Хранителю, – говорит Ивушка.

Оба повторяют, лепечут чуть запинаясь:

– Ангеле Христов, хранителю мой святой и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день...

И я вспоминаю со сладкой болью, как и я так же молился здесь с Ивушкой, и как хороши были эти сумеречные часы отхода ко сну после того, как она рассказала нам сказку. Я становлюсь на колени и тоже молюсь, и забытые в городе у Амалии слова сами текут, вяжутся одно на другое.

– Богородице, Дево, радуйся, – читает Ивушка, и мы все повторяем за нею.

А потом Миша ползет по сетке в свою постель, быстро забирает ноги, свертывается калачиком, Ивушка подымает и укладывает Сашу, натягивает одеяло, гладит по голове, приговаривая: «Вот, вот – спи, Христос с тобой!...». – Ивушка, Ивушка! – если бы только этот ее образ сохранился на всю жизнь: увы, и она не устояла, и она в революцию «шатнулась на кривду» – по ее собственным словам... И возникает сомнение: если из нас, у которых были и отчий дом, и родительская, направляющая рука, и няня, как Ивушка, – а нянь таких, кроме России, кажется, нигде не бывало, – если из нас, кого в детстве учили прежде всего молитве, добру и милосердию, кому проповедывали Христа, Божью Матерь и незримого Ангела Хранителя за спиной, вышли, всё-таки, столь жестокие, пустые, столь грешные люди, то что же выйдет из тех, что растут во зле наших дней, кому проповедуют с детства злобу и ложь, а вместо Христа – залитых

кровью земных калифов?.. И если люди, знавшие и воспитанные во Христе, уготовили миру столько зла и страданий, пролили столько крови, то что же ждет мир теперь, когда открыто возносят ненависть, злобу, убийство?.. Ибо, если даже хорошее дерево дало дурной плод, то сказано: дурное дерево не может принести хорошего плода.

IX

Ночью Ивушка разбудила меня. На столике горела свеча и из этого желтого, идущего снизу света глядело на меня, обрамленное темнотой, морщинистое, доброе лицо.

– Вставай, вставай, надо в церкву сряжаться – благовестят уж.

В доме – необыкновенное движение, то и дело пробегают по коридору, пахнет сдобными пирогами, ванилью, жарким – во всем чувствуется праздник, но вставать тем не менее мучительно трудно, сладко тянет всё тело, тяжеловесны, непослушны веки.

– Помой личико в тазике, сразу веселее будет.

Ивушка не уходит, пока я не выскакиваю из постели и, весь дрожа, хотя в комнате тепло, – не подбегаю к умывальнику. На улице тихо, звона не слышно!

– Ивушка, ты обманула меня – где же блавест?

И, как бы в ответ на мои слова, гулко ударяют в колокол, и густой, одинокий звук, качаясь, плывет над миром. Ивушка крестится, а я тороплюсь скорее умыться, одеться: надо попасть в церковь до полного звона. Пока только благовестят в большой колокол: мерно отбивает удары Кузьма, церковный сторож, и звуки падают в ночь, один за другим, как бой часов. На стуле мне приготовлена разутюженная форменная, черная курточка с двумя серебряными пуговицами у застежки, но как на зло воротничок сегодня до того туго накрахмален, что я никак не могу его застегнуть: долго я мучаюсь, обливаясь потом, и чуть не плачу от досады: воротничок обращается в какую-то белую

тряпку: из-под шинели всё будет видно.

– Готов ты? – дверь открывается и входит мой отец вместе с сестрой Марией. Отец сегодня в куньей шубе с бобровым воротником, в черной, высокой, барашковой шапке, в белых бурках на ногах. Он высок и плотен, и я кажусь перед ним таким маленьким, таким ребенком, что даже хочется отстать и идти одному. А сестра в черной, бархатной шубке, в шапке из пыжика; и опять меня поражает, как она выросла и похорошела. Снаружи гул колокола еще полнее, гуще, торжественнее, кажется, он стоит на весь мир. К ночи сильно покрепчал мороз, и небо всё в звездах; их больше здесь, свет их острее, чем в городе, небо мгlistей, косматей, таинственней. Мы идем к церкви вдоль погоста, и со всех сторон уже слышны шаги, хрустит остро снег и, возникая из мглы, на фоне желто-освещенных окон, мелькают смутнее силуэты – народ идет в церковь. Из труб вьется дым, прямо, как жезл, становясь над крышами, уходит в седое, косматое небо и деревья в инее кажутся тоже дымными, седыми. «И се звезда, ю же видеvше на востоце», – возникают вдруг во мне слова Евангелия от Матфея о Рождестве Христове, всегда необыкновенно поражавшего меня: «идяше перед ними, дондеже пришедше ста верху, идеже бе Отроча...» – и напрягая мое воображение, я стараюсь увидеть глазами тот непостижимый мир, где родился Бог, таинственный Восток, и ту ночь, и трех волхвов, идущих во тьме, под блеск звезды и хруст снега... Что то была теплая, южная, во всяком случае безснежная ночь, не приходило мне на ум, – в Рождество должен лежать снег, хрустеть под ногами, должны вспыхивать звезды в сухом морозе... И, мне кажется, я действительно воспринимаю сейчас ту ночь, Ее великий холод и великую тишину, и вижу, как дрожа в утренней мгле, склоняется над яслями, над Сыном, Божья Матерь!..

В церкви уже много народу: пришли к службе из дальних деревень, верст даже за 15. Стоят прямыми, длинными рядами – вправо от входа мужики, а влево бабы, как полагалось в старину и велось до самой революции. Сегодня все одеты в лучшие одежды, большей частью – в овчинные шубы в талью, извлеченные из дедовских сундуков, и оттого в церкви пахнет немного лежалым мехом, скипидаром, которым опрыскивают бабы шубы от моли. На груди и по оборке шубы оторочены красным сафьяном, узко перехвачены в талье – напоминают допетровские, древне-российские одежды; на головах у баб кашемировые и шелковые расшитые шали и полушалки. Стоят чинно, не шевелясь, не оборачиваются головами на приходящих, как в городских церквях; молятся, кланяясь всем рядом. Но всё же, когда мы проходим по середине церкви к амвону, я замечаю на себе взгляды и на мгновение чувство превосходства, спеси охватывает меня – и за то, что мы стоим впереди всех, что у меня шинель с

серебряными пуговицами и что, вообще, мы, в особенности отец — другие, не похожи ни на кого. Впереди, у амвона, стоят рядами подростки, среди них – мои бывшие приятели; я встречаюсь глазами с Бандурой, с другими ребятами – они смотрят с почтением на меня, как мне кажется, но еще приятней мне взгляды девок.

Отец идет к старосте, к свечному ящику, покупает свечи и ставит их перед образом Спаса и храмовой иконы Рождества. Читают псалмы, утренняя еще не началась, но перед иконами всюду уже зажжены свечи; их горящие пучки напоминают огненные снопы. На древних ликах святых, на почерневших, глянцевиных, деревянных балках стен колышутся отблески света; чуть пахнет кадильным дымом. А снаружи благовест перешел уже в звон, звонят во все колокола, и из алтаря раздается голос священника:

– Благословен Бог наш!..

И вот идет эта ночная рождественская служба в старинной деревянной церкви, полной народа, в большинстве, может быть, даже неграмотного. Но нигде не чувствовал я себя так близко к Богу, ни в одном знаменитом соборе, – а видел я их после много – не летела так к небу душа, как в этом бедном, затерянном в снегах храме, нигде не видел той простой и полной молитвы и веры, как в этих рядах, разом крестящихся и кланяющихся.

– На земли мир и в человецех благоволение... – звонко рассыпаясь, поют на клиросе детские голоса. Регентом отец Алексей, старый священник, что живет у нас на покое, а поют крестьянские дети из школы; голоса чисты и по-детски слабы, и пенье напоминает иногда биенье птичьих крыл. А ряды крестятся широким взмахом, высоко заноса персты, кланяются в пояс: и от этого общего движения в церкви стоит шорох и шевелится пламя свечей.

А затем ликующая песнь.

– Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите!

И это рождение Христа – Божьего Сына, оно словно свершается сейчас в храме!.. Я невольно подымаю глаза в купол, ввысь, чтобы видеть и встретить Его, идущего к нам... За маленькими, решётчатыми окнами – синий мрак, хотя понемногу начинает светать – служба длится уже третий час; чуть набухают

ноги и никнет иногда голова, а на душе ликование – как будто Родившийся тут с нами. Слова – торжественные, библейские, малопонятные, и это еще более усугубляет чувство необыкновенного.

– Жезл из корене Иесеева и цвет от него, Христе, – поет хор – от девы прозябл если, от горы хвальной, приосененная чащи... В них сокрыта вся непостижимая, великая Тайна рождения Христа, и когда мы, радостно усталые, идем домой, я уношу Его в себе, я полон Им, я Его чувствую во всём мире: на земле, словно начинается новая жизнь, ибо пришел Он!

На Западе я ни разу не пережил наяву этой великой тайны рождения Божьего Сына. Да и сам праздник Рождества здесь зовется по иному: Weihnachten, No?l. В сочельник, после обеда, чинные бюргеры идут в церковь, долго усаживаются, устраиваются на скамейках, поют, бесстрастно, в униссон, сладко благочестивые стишки: «Wer ist das sch?ne Kindelein, es ist das liebe Jesulein...» или еще лучше: «Das Kindlein so zart und fein – wie freundlich sieht es aus...» – и коробит всего от этого сентиментального панибратства с Богом. Почему сразу не колыбельную? Так не поют о Божьем Сыне; это в почтенной, буржуазной семье родился ребенок, смертный и беззащитный, как и все люди; раз я слышал, как щебетал по радио голос, упиваясь собственной пошлостью: «Если бы ты родился у нас, в Померании, то я бы уложила тебя в колясочку, под пуховое одеяльце, я бы кормила тебя кашкой...». Бога хотят сделать понятным маленьким буржуа, добродетельным бюргером, мещанином, с которым можно погоревать совместно о плохой жизни, о дороговизне на рынках. Мертвенно горит на середине церкви электрическая елка, и каждый год всё на тот же лад вопрошает, выкрикивает пастор: «Кто есть Бог? Что есть Рождество?» – целый час льется эта риторика, этот заученный пафос. Один простачок-пастор признавался мне, собой весьма довольный, что он все проповеди свои нумерует и раскладывает по праздникам, имея, таким образом, всегда готовые тексты, – впрочем, раньше чем через два года проповедей он не повторял. Вот уже пятое столетие на Западе волокут, тащат всеми силами Бога на землю, как будто Его непостижимая тайна станет от того понятней; из таинства молитвы делают риторику, из религии, – пошлую, ограниченную философию рационализма и земного счастья, из Богослужения – бюргерское собрание, почти что как за Stammtisch; – в самом деле, я видел, как в Голландии, у кальвинистов, входили во храм в шляпах, с дымящимися сигарами в руках, оставляя их на время службы на пульте перед собою, рядом с псалтирью.

Но спрашивается: почему же не в Европе, где царит этот безкрылый рационализм, а в России стряслась самая кровавая, самая бесчеловечная революция, почему именно в этой стране гонят Бога?.. Почему именно русский народ, с его верой, приносит вторично Христа на заклание? Кто знает – пути народов неисповедимы. Ясно только одно: это не подлинная Россия гонит Бога, Россия, отравленная Европой, западным ядом рационализма и безбожия. И странно: Россия, выпив этого яду, корчится и горит в муках, а Европа вот уже веками пьет яд и только пухнет и пошлеет. Народ, верящий лишь в карман и желудок, не сделает никакой революции.

В сумерках раннего утра на улице вспыхивают огни, как светляки, – это идут христославы со звездами славить Христа. Меня тянет немедленно бежать, присоединиться к какой-нибудь паре и опять, как прежде, – как недавно это было! – идти из дома в дом, останавливаться у порога и петь: «Рождество Твое, Христе, Боже наш!» и «Дева днесь Пресущественнаго рождает»... В каждом доме христославам непременно подадут что-нибудь: если дом побогаче, то пироги скоромные, начиненные мясом, яйцами, ватрушки, густо смазанные сметаной, маслом, а в бедных домах – лишь лепешки из ячменной муки, посыпанные толокном, но везде в самой маленькой избе, с оконцами, заткнутыми тряпьем, соломой, – всюду радость, всюду бодрствуют, встречают праздник, ждут христославов. И как весело потом разбирать дома подаяния, гадать, где что дали, и какая овладевает сердцем жалость к тем людям, что подали от последнего сухие, ячменные лепешки!..

Когда мы возвращаемся из церкви, дома горят ярко свечи, столы покрыты чистою скатертью, Ивушка суется, убирает еще что-то на ходу. А на столе лежат окорока, паштеты, закуски, всевозможные пироги – с мясом, рыбой, яйцами, капустой и всё это пахнет, благоухает упоительно, на весь дом, шумит самовар – сил нет ждать. А потом появляются христославы; у некоторых звезды из желтой оберточной бумаги, с двумя-тремя картинками от дешевых конфет, наклеенными сверху, валенки у поющих залатаны, на одеждах заплаты, отцовские шапки велики, но сияют глаза, горят щеки, звенят голоса. И Ивушка старается набить в их мешки как можно больше: она сует лепешки, и по куску пирога, и сахару, и конфет, а отец встает и каждого из поющих оделяет 20 копейками... Меня уже берет беспокойство – что же не идет Бандура? Но открывается дверь, Палашка манит меня пальцем – в боковушке уже ждет со звездой Бандура; я поспешно переодеваюсь в старую шубку и валенки. И вот мы идем по всем дворам – а на селе около 300 дворов – славить Христа; из одной деревни переходим в другую через синеющие снежные поля» по тропкам, туго убитым ногами. И навстречу нам тоже идут христославы со звездами... А над

беспредельными снегами, над туманной синевой dalej – чистое, нетронутое по утреннему небо; в мире – полная тишина, какая, вероятно, стояла здесь столетия; в мире – Бог и покой. И я невольно подымаю голову к небу, почти что в надежде увидеть Бога, каким представлял я Его себе еще недавно в первые детские годы. Он сидит на облаках, Бог-Отец, по правую руку – Бог-Сын, Иисус Христос, по левую – Дух Святой: и они смотрят на нас, благословляют эту землю, эти деревянные, черные избы под снегом. А сзади вьются, поют ангелы... Если бы можно было и теперь иметь эту веру и этот дар видеть Бога!.. Уже утрачено, убито всё, но и теперь, когда услышу вдруг, как запоют «Дева днесь», то встрепенется душа, стремясь назад, туда, в эти снежные поля, где ходил я когда-то со звездой. Было это, но повторится ли еще когда-нибудь на земле до скончания веков?..

Х

Всю неделю в доме пахнет елкой, подгоревшей хвоей, козулями, и, вскакивая по утрам, тотчас же впадаешь в праздничное состояние, то ли от этих рождественских запахов, то ли от подарков, которые еще не пригляделись. Дома я отсыпался, вставал поздно, когда уже рассветало. Стояли морозы, по ночам гулко трещали, лопаюсь, стены, окна расцвели пышными, белыми цветами. Но хорошо топили березовыми дровами, весело трещало в печах, выскакивали гулко угли на пол, и Авдей до полдня ходил, шевелил и подгребал жар, – всё боялся, как бы не упустить тепла, закрывал рано, бывало даже угарно. Выпив чай, я каждый день почему-то подходил к окну с айсбергами, сверху уже отошедшими, смотрел в пепельно-дымчатые, застывшие фонтаны берез и раakit в саду; за ними рдело солнце, и на полу лежали, переливаясь, холодные, цветные лучи, как драгоценные камения. Снаружи – мороз, а в саду неутомимо, звонко точит, куёт синица; где она живет, чем питается, и как выносит этот холод – непостижимо! В доме очень тихо, лишь изредка раздаётся тонкий плач, мать остается дольше в постели, вставая только к обеду, все стараются меньше ходить, тише говорить, и потому как-то особенно пусто, торжественно-празднично в комнатах. Незаметно уходит время, текут дни, один за другим, столь медленно – казалось бы – и столь непостижимо быстро; вспоминается вдруг, как вызывали меня в инспекторскую, как стоял инспектор у окна, падал редкий снег, – до чего это уже далеко, как много времени уже прошло с тех пор – и, Боже, скоро конец каникул, надо возвращаться!.. Я гоню эту мысль поспешно от себя: осталось всё-таки еще больше десяти дней!

Вероятно, потому, что мать не вставала, в то Рождество не было гостей, только несколько раз заходили монашки, оставались ночевать. Приходили они из разных монастырей, со всех концов России, собирали на «построение храмов Божьих», шли пешком, через деревни и города, в черных длинных одеждах, в черных теплых шалях на голове, подпоясанные широкими, черными кожаными ремнями, и говорили все как-то на один лад – певуче, склонив голову на бок, и все много крестились. И каждый раз, когда они заходили к нам и сидели на кухне, пили чай, разговаривали с Авдеем и кухаркой, я украдкой наблюдал за ними с чувством не то недоумения, не то жалости к ним, стараясь разгадать: какая нужда заставила их стать монахинями – нельзя же по своей воле идти в монастырь? А монашки раздавали бумажные цветные иконки, маленькие нательные крестики, подушечки для иголок, стенные кармашки для часов, вышитые бисером. Некоторые из них знали меня: «Как вырос-то – за один годочек» – говорили они мне, хотя я их совсем не помнил. Некоторых мать звала к себе в комнату, и там они долго оставались. Иногда они пели «Рождество Твое» или «Дева днесь», – стройно, грустно, по-монашески...

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/gagarin_evgeniy/vozvraschenie-korneta

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)